



Виталий Вячеславович Мельников

Жизнь. Кино

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4519216
Жизнь. Кино.: БХВ-Петербург; Санкт-Петербург; 2011
ISBN 978-5-9775-0669-4*

Аннотация

Виталий Мельников – режиссер всеми любимых фильмов: «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Женитьба», «Выйти замуж за капитана», «Царская охота», «Бедный, бедный Павел», «Агитбригада "Бей врага!"» и многих других. Но и сама его жизнь могла бы послужить основой для увлекательного сценария. Судьба В. Мельникова насыщена событиями и фильмами. И, конечно, встречами с яркими людьми: Сергеем Эйзенштейном, Михаилом Роммом, Эльдаром Рязановым, Евгением Леоновым, Михаилом Кононовым, Юрием Богатыревым, Олегом Ефремовым, Олегом Далем, Натальей Гундаревой, Светланой Крючковой, Виктором Сухоруковым и другими. А поскольку в самом названии своей книги режиссер объединяет жизнь и кино, он увлеченно рассказывает о том, что любит и умеет делать лучше всего – о съемках фильмов.

Для широкого круга читателей.

Содержание

Предисловие	4
Тише, товарищи! Шапки долой!	6
Андалузская ночь так была хороша	9
Недоразумение	13
Явление Оверьки Чижика	16
Перековка	19
Роньжа	23
Если завтра война	29
Агитбригада «Бей врага»	34
Молодым везде у нас дорога	41
«Пятьсот веселый»	47
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Виталий Мельников

Жизнь. Кино

Предисловие

Никаких записок и воспоминаний я писать не собирался. Рейхстага я не штурмовал и никаких судьбоносных перестроек не сотворил. Просто у меня получилась довольно-таки длинная жизнь, но это не моя заслуга.

Однажды домашние попросили меня привести архив в порядок. Разрозненную грудку писем, фотографий и всякой бумажной рухляди они величают «архивом». Несколько дней я трудолюбиво перебирал этот архив, но все оставил «на потом». Через год грудка бумаг увеличилась, а напор домашних усилился. Тогда я соврал, что буду писать книгу и архив мне нужен в неприкосновенности. И вот, теперь я вынужден писать нечто в чисто воспитательных целях – ведь я всегда говорил внукам, что врать – нехорошо.

Роясь в архиве, я наткнулся на жестяную коробку. На коробке ужасным почерком внука Тёмы было написано: «Дедские значки». Оказывается, внук имел в виду мои личные значки, то есть «дедовские». Здесь лежали значки с кудрявым Лениным (я был, оказывается, октябренок). Более того, я был «ворошиловским стрелком», я был «готов к труду и обороне», я собрал горы металлолома и за это тоже был награжден особым значком. Коробка со значками была тяжелая. Выходит, я славно поработал в жизни. Теперь осталось только выстроить будущую книгу в каком-нибудь порядке. И тут меня одолели неуправляемые ассоциации. «Неуправляемые ассоциации» – это когда пытаешься вспомнить одно, а вспоминается совсем другое.

Среди самых почетных значков, подтверждающих, что я «заслуженный» и даже «народный», бережно хранится медаль нашего семейного пуделя Дарика. У детей и внуков, видимо, своя шкала ценностей. Полное имя Дарика было Эльдар. Его называли так потому, что в пуделином семействе, к которому он принадлежал, имена всех ближайших родственников должны были начинаться с буквы «э». Кроме того, мои дети называли щенка Эльдаром, потому что любили фильмы Эльдара Рязанова. Они думали, что Рязанову будет приятно узнать о таком отличии.

Эльдари-режиссеру я не спешил сообщать об Эльдаре-пуделе. Мы встречались довольно часто. Вместе с Эльдаром-режиссером мы обнаружили в этих встречах даже определенную закономерность. Как только я приезжал в Москву на «Кинопанораму», обязательно помирал какой-нибудь вождь. Кажется, именно в день смерти Брежнева я привез комедию с двусмысленным названием «Здравствуй и прощай». В следующий мой приезд умер Черненко. Каждый раз Москва меня встречала приспущенными знаменами и траурными мелодиями.

– Может, мне вообще не приезжать? – спросил я у Рязанова.

– Что ты! Что ты! – ответил Эльдар. – Приезжай к нам почаще!

Вот такие были времена!

В кино человека, приносящего на съемках всякие неприятности, называют «бодяга». Если несколько дней подряд идет дождь или напивается артист, обвиняют не погоду и не артиста, а «бодягу». Правильно ли было и в этих случаях тоже считать меня «бодягой»? Я надолго задумался над этим вопросом. Потом меня одолели иные неуправляемые ассоциации. В грудке бумаг я обнаружил пожелтевшую брошюрку на языке хинди. Я не знал языка хинди, но вспомнил, кто эту брошюрку мне подарил.

Дело было на острове Маврикий. Помню, я долго летел туда через Дакар, Тананариву, что на Мадагаскаре, и прилетел, наконец, на Маврикий. Здесь выяснилось, что меня заслали туда по ошибке. Компетентные органы в Госкино узнали, что на Маврикии затевается какой-то морской праздник. Решено было срочно порадовать островитян советским фильмом на морскую тематику. Послали мой фильм «Выйти замуж за капитана». Но только на Маврикии, в самом центре Индийского океана, обнаружилось, что это фильм о сугубо сухопутном капитане-пограничнике и девушке-фотографе – отнюдь не морячке. Мы с Верой Глаголевой не огорчились и быстро подружились с маврикийской общественностью. Вот тогда-то островитянин Джо и подарил мне свою брошюру. На папины деньги он в этом сочинении от нечего делать прославлял терроризм. Сегодня, через много лет, я полистал страницы с непонятными закорючками и стал гадать, почему он мне это подарил? Видимо, Джо хотел сделать приятное советскому человеку – между коммунизмом и терроризмом разницы он не видел. Потом вспомнились иные встречи, случаи, лица. И тут я понял, что книжка у меня получится уж очень пестрая и «выстроить» ее невозможно. Но можно свободно и безответственно плыть по волнам памяти, а там – будь что будет.

Санкт-Петербург

07. 11. 2004

Виталий Мельников

Тише, товарищи! Шапки долой!

– Здесь сливаются Шилка и Аргунь! – мать кричала мне в ухо учительским голосом. – Это так называемые «истоки»! – внушала она. У матери было два голоса: один домашний, а другой учительский, особенный, в нем слова и звуки отскакивали друг от друга, как горошины, и оставляли незримые вмятины в памяти «учащихся».

– Здесь! – кричала мать, – начинается уже другая река! Она называется Зея!

Кричать приходилось оттого, что рядом с нами грохотал ледоход. Понять, где тут Шилка, где Аргунь, да еще и какая-то Зея, сейчас не смог бы, наверное, даже лучший мамин ученик! Совершенно одинаковые льдины с гудением и стонами напоздали друг на друга, а потом взрывались и звенели и рассыпались на длинные ледяные иглы. А на смену им, кружась, надвигались и громоздились все новые и новые глыбищи. Они несли на своих горбах следы зимней, не до конца растаявшей жизни: угольные пятна отгоревших костров, вешки, обрамлявшие бывший санный путь, обломки строений и заборов, с корнем вывороченные деревья, на которых плыла захваченная ледоходом врасплох всякая лесная живность.

Мать наказала мне к реке не приближаться, подхватила коромысло с мокрым бельем и пошла к дому. Я был послушным ребенком и к несущимся льдинам не подходил, но рядом, почти на берегу, лежала толстая, ноздреватая неподвижная глыба. Если на нее взобраться, то наверняка можно было бы увидеть и Зею, и много чего еще. Я, конечно, на льдину взобрался, а чтобы увидеть всего побольше, даже подпрыгнул. Подпрыгнул и вдруг погрузился по горло в рассыпающуюся груды ледяных иголок. Я закричал, но голос мой утонул в грохоте ледохода. Уцепиться было не за что, а ледяная каша медленно тронулась и вдруг поползла по скользкой прибрежной глине вниз к реке. Я барахтался, хватал ртом жидкую грязь, но скоро обессилел, оцепенел от холода и замер неподвижно, увлекаемый потоком. Река гремела ближе и ближе, а мне было все равно. Вдруг что-то ударило меня в бок. В это «что-то» я вцепился и прижал его к себе. Это был толстый кол, крепко вбитый на берегу еще с лета – к нему привязывали лодки. Ледяная каша нехотя обтекала, освобождая меня, и уползала вниз, соединяясь с мутным потоком не то Шилки, не то Аргуни. Я постоял на берегу одинокий и свободный, а потом, отцепившись от своего кола, побрел домой.

Способен ли пятилетний человек размышлять о жизни и смерти, справедливости и прочем вечном? Утверждаю – пятилетний человек размышляет об этом постоянно и напряженно. Взрослые – реже. Они не способны подняться над рутинной.

Через день у нас были похороны. Провалился под лед пограничник. Он утонул приблизительно в то же самое время, когда я держался за кол. Прощаться пришли все – и пограничники, и казаки с семьями. Покровка наша была старинная, екатерининских времен, казачья станица. У открытой могилы стоял на козлах красный гроб, а на груди у неподвижного пограничника лежала зеленая фуражка. Играл духовой оркестр, и все плакали. У кладбищенской ограды выстроились казаки с обнаженными шашками. Вперед вышел пограничный начальник и прокричал: «Тише, товарищи! Шапки долой! Красноармеец погиб молодой!» Все женщины заплакали громче, и моя мать тоже. Потом пограничники стреляли залпом.

Мне очень понравилось. Я даже немного пожалел, что тогда уцепился за кол, а не утонул, как пограничник. Мало того что мать отчитала меня учительским голосом, раздела догола и, укрыв толстым одеялом, заставила дышать над кипящим чугуном! Она еще пригрозила мне утюгом! Стоило ли, в самом деле, цепляться за кол? Ведь я знал этот утюг! Утюжище был черный, остроносый, похожий на пароход, но с круглыми дырочками-ноздрями и крышкой. Откинув крышку, мать засыпала в его чрево угли, а потом их поджигала. Она ожесточенно размахивала утюгом, пока в дырочках-ноздрях не появлялось синее гудящее пламя. Тогда мать осторожно прикасалась влажным пальцем к утюговскому брюху, и

он угрожающе шипел. Вот этим-то утюгом мать и пообещала прогладить меня хорошенько, чтобы выгнать из меня всю простуду и чтоб я запомнил, как это – лезть без спросу в не то Шилку, не то Аргунь. Сегодня мать про утюг не вспоминала – отвлекли похороны, но кто знает...

А когда-то давным-давно, еще до этого ледохода, мы с матерью каждый день ездили на саночках в Китай. У нас была с китайцами общая прорубь. Казаки и китайцы чистили ее поочередно и ежедневно брали воду. Женщины у проруби обменивались новостями, ссорились, мирились и сплетничали. Но, конечно, не моя мать! В споры она не вступала, всем улыбалась, и ей тоже все дружно улыбались. Она же была Учительница! Мужчины тоже в разговоры не вступали, только степенно здоровались с китайцами.

Правда, это были не совсем китайцы. Можно сказать, что даже совсем не китайцы, а обыкновенные русские. Мать непонятно объясняла мне, что была гражданская война и в Китай русских китайцев «занесла судьба». У тех, которые оказались в Китае, и у тех, которые жили в Покровке, было много родственников. На Пасху Покровка пустела – казаки отправлялись за рубеж к родственникам – праздновать. Ведь в советской Покровке Пасху не попраниюешь! Пограничники глядели на все это сквозь пальцы. Зато уж первое мая у нас было необыкновенное: казаки и китайцы, отгуляв Пасху, с песнями пересекали границу и потом дружно отмечали в Покровке День солидарности трудящихся. Демонстрантов у нас на базарной площади всегда было вдвое больше, чем жителей в Покровке.

Меня всеобщее веселье не удивляло. Не удивляла ни демонстрация, ни парад пограничников, ни джигитовка казаков. Ведь первое мая – мой день рождения! А в мой день рождения все должно быть необыкновенным! С утра в доме пахло пирогом и наше принаряженное семейство садилось завтракать. Я не ждал никаких подарков, потому что подарки, поцелуи и другие проявления «мещанства» у нас были не в ходу.

Поскольку отец был лесничим, наше семейство постоянно переезжало из одной глухомани в другую. Из одного казенного жилья в другое. После каждого переезда мать наспех жилье это обставляла. Она обзаводилась оконными занавесками и книжной полкой, размещала единственный, но свадебный подарок отца – швейную машину и расстилала на полу медвежью шкуру – отцовский охотничий трофей. Вторую медвежью шкуру отец прикреплял к стене собственными руками, на этой шкуре он развешивал оружие. Все! На этом очередное новоселье и заканчивалось. Не считая водружения в парадном углу портрета Вячеслава Михайловича Молотова. Непонятно почему, но мать, изъяв из очередной отцовской конторы Вячеслава Михайловича, поселила его к нам навеки. Водружение Молотова в угол стало семейным обрядом. Мать возвела наркомин-дела СССР в ранг хранителя семейного очага. Может быть оттого, что мой отец тоже был Вячеслав?

Так мы и жили: мать учила покровских детей в школе, а отец пропадал в командировках по лесным делам, засекам и лесничествам. Потом был снова ледоход и снова Первое мая, и оказалось, что мне уже шесть лет.

Пирог был готов и благоухал, накрытый чистым полотенцем, а мы ждали возвращения отца с демонстрации. Отца «повысили», и он теперь должен был стоять на трибуне вместе с другими начальниками посередине базарной площади и помахать рукою демонстрантам. Пришел отец, как всегда, мы занялись пирогом, но мать вдруг подняла голову и спросила:

– Вячеслав! Чем от тебя пахнет?

– Пирогом, – ответил отец.

– Нет не пирогом, – мать деликатно понизила голос, – ты на что-то наступил. Ну-ка! Из-за стола!

Они отошли в сторонку и стали шептаться, потом смеяться, потом ушли в сени и принялись громко хохотать. Вернулись они, вытирая слезы и переглядываясь.

– А если это провокация? – серьезно спросила мать.

– Нормальная, человеческая реакция, – пояснил отец, и они снова засмеялись.

А дело было вот в чем. В Покровке задолго стали готовиться к Первомаю. На базарной площади из свежего желтенького теса воздвигли невиданное сооружение – трибуну. Трибуна оказалась в центре повседневной базарной жизни, и местные жители постепенно стали приспособлять ее к делу. Торговки вбивали в нее гвозди и подвешивали вязанки лука и сушеных грибов, на ступеньках старухи торговали семечками. Здесь же совершались торговые сделки. Если сделка была крупная, ее тут же обмывали. Когда дети просились «пи-пи», их пристраивали под трибуну. Народ, наконец, понял, для чего нужна эта самая трибуна, и теперь все делали под трибуной не только «пи-пи». К трибуне пролегла народная тропа! Это и неудивительно. Воздвигая трибуну, начальство и не подумало о постройке другого, менее помпезного, но крайне нужного сооружения.

Согласно законам природы, на свежем воздухе и морозце последствия всенародного пользования не очень давали о себя знать. Но пригревало весеннее солнышко, и народ близ трибуны стал как-то принюхиваться и от нее отдаляться. Первыми отделились торговки нежным товаром – луком и грибами. Затем переселились на сельповское крыльцо торговки семечками, потом любители выпить и посудачить.

И вот, Первого мая объявились на трибуне принаряженные по случаю солнечного денька и ничего не подозревающие руководители. Они были, конечно, «рабоче-крестьянского» происхождения, люди закаленные и ко всему привычные, но вонь такой весенней силы и концентрации даже их повергла в смятение. Насторожил и напугал также политический резонанс. Демонстранты флажками размахивали, но трибуны сторонились. Между народом и вождями образовалось пустое пространство. Пограничники с винтовками наперевес по уставу печатали шаг, но «равнения направо» не держали – слегка отворачивали носы. Казачий эскадрон, отмахиваясь шашками, промчался мимо трибуны ускоренным наметом. И впервые среди присутствующих на трибуне прозвучало то самое слово: провокация.

Слово это было уже не новое. Не подвезли в Покровку соли – это, ясное дело, провокация. Перешла пограничную полосу корова – провокация. Вдруг пошел слух, что пользуются трибуной не по назначению именно зарубежные китайцы. Что все у них заранее продумано и предусмотрено, чтобы трибуну осквернить!

С утра я пошел к бережку, туда, где сливаются не то Шилка, не то Аргунь, и увидел, что пограничники с криками загоняют трехдюймовку в открытый за ночь блиндаж. Трехдюймовка повернута была рылом в сторону Китая. И правильно! Нечего устраивать провокации и портить мне день рождения! Я не знаю, как там дальше повернулось дело с провокациями в Покровке, потому что нам, Мельниковым, предстоял очередной переезд – далекое путешествие в большой город Благовещенск, где есть даже настоящие, не игрушечные, автомобили и двухэтажные дома.

Андалузская ночь так была хороша

– Здесь Зея впадает в Амур! – объявила мать. – Мы уже плывем по Амуру!

Встречный пароход дал гудок. Этот пароход был точной копией нашего «Сергея Лазо» – с таким же огромным гребным колесом на корме. Но на корме трепетал странный, незнакомый флаг, а на носу было название «Верочка» и еще что-то по-китайски. Пароходы сблизились и склонились друг к другу бортами, потому что все пассажиры столпились на палубах. «Беляки недобитые!» – кричали пассажиры с нашего «Сергея Лазо», а с «Верочки» отвечали, что мы «сволочь краснозадая». Для судоходства на Амуре был общий фарватер и пароходы-близнецы часто встречались. Капитан приказал в жестяную трубу всем покинуть палубу и закрыть окна в каютах.

Мы сидели в запертых каютах, а капитан через свою трубу снова и снова просил нас не выходить и проявлять бдительность, потому что «граница теперь на замке». Родители воспитывали меня поочередно. Мать просвещала меня по части географии, а отец нажимал на политграмоту. «Нужно же ему хоть что-то, хоть как-то объяснять!» – говорил отец. Согласно политграмоте, получалось, что судьба развела не только людей, но и корабли. Когда-то по Амуру плавали два парохода – «Верочка» и «Наденька». Так назвал их богатый купец Чурин в честь своих дочерей. В гражданскую войну (опять гражданская война!) Чурин сбежал на «Верочке» в Китай, а «Наденьку» советская власть переименовала в «Сергея Лазо».

– И вот мы, советские люди, – закончил отец, – плывем теперь на своем пароходе...

– И проявляем бдительность, – добавил я.

– Вечно он все переворачивает, – почему-то рассердился отец, – провокатор какой-то!

– Маленький еще, – заступилась мать.

Но я все-таки спросил про «границу на замке». Я предположил, что она теперь на замке потому, что китайцы так некрасиво поступили тогда с нашей трибуной. Отец сдержался и ровным голосом разъяснил мне «международное положение». Оказывается, виноваты вовсе не китайцы, а японцы. Это они отвоевали себе кусок Китая и назвали этот кусок государством Мань-джо-уго. Теперь они захотели прихватить еще и кусок нашей социалистической отчизны, а мы в ответ закрыли границу на замок.

– А сделал это товарищ Сталин, – добавил отец.

– И наш Вячеслав Михайлович? – спросил я у матери.

– Ну вот! – довольно улыбнулась мать. – Он уже кое-что понимает.

В Благовещенске действительно были двухэтажные дома и целых два трехэтажных: гостиница «Амур» и бывшее ГПУ, а по-новому, НКВД. Были и автомобили. Ведь Благовещенск – город пограничный, и в нем расположилось сразу три иностранных консульства: японское, китайское и этого самого Мань-джо-уго.

Консульства прятались за высокими заборами. Я однажды заглянул через щелочку во двор японского консульства. Там маленькие тоненькие японочки перекидывали через сетку мячик. Толстый японец подошел к щели и показал мне кулак. В городе иностранцы появлялись только раз в пятидневку – в банный день. Тогда городская баня закрывалась, а жители терпеливо поджидали, когда на главной улице имени Ленина появится интересная дипломатическая процессия. Первым выезжал черный автомобиль с японским флажком и открытым верхом. Рядом с шофером-офицером сидел тот самый толстый японец, одетый в черный сюртук и с черным цилиндром на круглой голове. Японец был вылитый буржуй из журнала «Крокодил». На заднем сиденье гнездились штук шесть вывезенных на помывку хорошеньких японочек в ярких кимоно.

За японцами, чуть поотстав, трясся экипаж китайской миссии. Это была линейка – длинная телега с лохматой веревочной упряжью. Телегу тащили две шустрые монгольские

лошадки. Китайцы сидели на линейке, свесив ноги, как мальчишки на заборе, и смотрели прямо перед собой, гордо не замечая японцев. Ведь Китай и Япония находились в состоянии войны. Перемирие устанавливалось только на банный день.

Процессию завершала лакированная извозчичья пролетка консула Мань-джо-уго. Он сидел, развываясь на подушках, в клетчатом пиджаке и военной фуражке с высокой тульей. На облучке возвышался бородатый русский извозчик, видимо, нанятый консулом, и непрерывно звонил в большой колокол. Почему он так трезвонил, никто понять не мог. Если консул боялся, что под пролетку нечаянно попадет кто-то из местных жителей, то он напрасно беспокоился – даже на улице Ленина глубокие колдобины и непролазная грязь гарантировали пешеходам полную безопасность. Когда процессия скрывалась за углом, следом за ней, рыча и разбрызгивая грязь, пронесся черный фордик НКВД – это органы приглядывали за дипломатами.

Мы, наконец, поселились. Отец снял половину маленького домика во дворе, на Октябрьской улице, названной так в честь Великого Октября. В одной половинке дома разместилось многодетное семейство, бежавшее от голода с Украины, а в другой теперь жили мы. Наша швейная машина «Зингер-полукабинет» уже заняла свое место у окна, медвежьи шкуры и отцовское оружие также были пристроены. Вячеслав Михайлович смиренно висел над столом. Когда я вышел погулять и поглядеть на новые места, ко мне подошла девчонка моих лет и протянула что-то черное.

– Жмыхов хочешь? – спросила она.

Я повертел жмыхи в руках и отдал обратно.

– Цэ трэба разжуваты, – пояснила девчонка и впиалась в черный комок крепкими зубами.

– Это можно есть? – спросил я.

– А як же! – удивилась девчонка. – Мы тильки жмыхи и ядим!

Наша Октябрьская улица вела к сенному базару, потом к монопольке¹, а потом на кладбище. Сидеть на лавочке перед нашими воротами было очень интересно. С утра по Октябрьской шли русские хозяйки с корзинами, чуть в сторонке, отдельными кучками шагали китайцы и несли на прямых длинных коромыслах всякую зелень и овощи. У китайцев из-под островерхих шляп свисали косы, а китайки мелко перебирали крошечными ножками. Ступни им с детства туго бинтовали – чем меньше ножка, тем красивее китайка. Потом шли цыганки с цыганятами – поворожить и поглядеть, где что плохо лежит. Потом тряслись телеги с бочками, ведрами и визжащими в мешках свиньями. Потом наступала тишина. Это был кладбищенский час. На извозчике или пешком появлялись музыканты с медными трубами и огромным барабаном. Они торопились на кладбище – оживленно перекликались друг с дружкой и даже бежали, чтобы поспеть вовремя. А потом, чуть позже, издали доносилось печальное пение труб и глухой стук барабана. На Октябрьскую вступала похоронная процессия. Впереди шли музыканты. Теперь лица у них были другие – печальные и торжественные.

Мать очень не любила, когда я сидел на лавочке в предвечернее время, потому что в это время из монопольки по домам разбредались «больные». Они качались, пели хриплыми голосами и засыпали прямо поперек тротуара или в канаве. Мать называла их всех больными, чтобы «уберечь ребенка от этого ужаса», но Верка очень смеялась и все мне объяснила: «яки таки больные? Воны ж пьяные!» Поздно вечером, когда дневная жара спадала, на лавочках располагались женщины поболтать о разных разностях и поглазеть на прохожих. При этом они расчесывали волосы и что-то в них выискивали друг у друга. Было тепло, темно и очень красиво пели лягушки. Их в нашей канаве было видимо-невидимо и лягуша-

¹ Винная лавка, монопольно торговавшая водкой. – *Ред.*

чьих детей тоже. Верка мне рассказала, что лягушки так красиво поют потому, что нынче у них народились «гарны головастики».

У нас появился новый член семьи. Однажды отец разбудил меня рано и велел побыстрее одеваться.

– Мы идем на базар, – сообщил он.

– Без мамы? – удивился я.

– У нас важное мужское дело. Поторапливайся!

На базаре, как всегда, было криливо и людно. Отец тащил меня за руку и пробирался в ту сторону, где мычали коровы и ржали лошади. «Сюда, Вячеслав Владимирович!» – окликнул нас какой-то дядька и нырнул под телегу. Мы с отцом нырнули следом. Поодаль к возу с сеном была привязана угольно-черная коровенка, один рог у нее был кривой. «Вот! – торжественно сказал дядька, – не пожалее, Вячеслав Владимирович! Зовут Чернявка! Из хороших рук! С рекомендацией, можно сказать!»

Первой у ворот нас встретила Верка.

– Чого ж вона така криворогая? – причитала Верка, – и вымячко в ей малэнько! Пидманулы! Ох, пидманулы вас, Чеслав Владимырыч!

За отцовским плечом появилась мать.

– И правда, Вячеслав, – неуверенно сказала она, – конек-горбунок какой-то.

В Благовещенске было голодно. Через весь город отец привозил нам на велосипеде причитавшийся ему казенный обед. В жестяных судках плавали останки рыбьих голов – это «на первое» и пшенка, сдобренная вонючим говяжьим жиром, – это «на второе». Во время обеда отец проводил со мной политбеседы. Он говорил про «границу на замке», про голод на Украине и про другие временные трудности. В конце концов, он однажды явился домой пешком без судка и без велосипеда. Оказывается, временные трудности возросли, казенные обеды отменили, а велосипед пришлось временно продать и купить криворогую Чернявку. Чернявка нас не подвела. Поначалу я сомневался, будет ли молоко у такой черной коровы достаточно белым, но оно оказалось и белым, и вкусным. Мать выгоняла корову к стаду, вечером ее встречала, говорила ей ласковые слова и старательно доила. Чернявка благодарно мычала, а на столе у нас стали появляться всякие полезные и питательные продукты. Мать хлопотала по хозяйству и пела. Она хорошо пела, но стеснялась. А при мне не стеснялась. Она пела про девицу, которая жадно глядит на дорогу, про бродягу, который переехал Байкал, а особенно часто и красиво она пела про андалузскую ночь, которая «так была хороша», а «девица поджидала милого». Почему-то как раз на словах: «это он, это он! О, мой рыцарь, мой князь!» с работы возвращался отец. Отец время от времени ворчал, что он теперь не лесничий, а канцелярская крыса, но все-таки ему нравилось, что вот уже почти год он живет с семьей и почти что в собственном доме. «Даже корова есть!» – говорил отец и смеялся.

Каждую пятидневку мы ходили в кино. На улице Ленина было два кинотеатра. Один был государственный и назывался «Гигант», а второй – частный, нэповский, под названием «Мираж». В «Гиганте» крутили «Турксиб» и «Путевку в жизнь», а в «Мираже» я быстро засыпал, потому что кино там было немое, да еще и про любовь. Но зато перед сеансами там продавались «коммерческие» пирожные без карточек!

Вечерами родители поочередно читали вслух «новинки». При чтении они спорили или смеялись. Они очень смеялись, когда Алексашка Меньшиков и царь Петр протаскивали через щеку иголку с ниткой. И очень спорили, будет или не будет революция в Японии, когда читали книжку «На Востоке» какого-то Павленко. Отец говорил, что японцы политически не созрели, а мать, что созрели: «не дураки же они, ей-богу!». Когда родители думали, что я уже сплю, они переговаривались шепотом. Отец часто рассказывал о каком-то «амурзей-лестресте», где многих «взяли» неизвестно за что. Мать ахала, а отец говорил, что это «очередной перегиб» и «недоразумение».

Однажды отец пришел с маленьким черным ящичком и треногой. «Это «фотокор», – сказал он, – будем осваивать!» Прежде всего, отец решил освоить автоспуск, чтобы мы сфотографировались все вместе. С той поры, каждый вечер мы с отцом проводили в подполье. При свете красного фонаря мы проявляли и закрепляли. Чаще всего в ванночке на листе фотобумаги не проявлялось ровно ничего или появлялось что-то смутно-расплывчатое. Но, в конце концов, совершилось чудо! Однажды я, не особенно надеясь, глядел на мокрый лист фотобумаги, и вдруг на дне ванночки, словно из ничего, медленно-медленно возникли лица матери и отца, а посерединке улыбался я. Снимок этот я храню много лет. Мы на нем все вместе, нам хорошо и весело. Такого снимка у нас уже никогда не будет.

Недоразумение

Я бежал домой сказать, что идет стадо и пора встречать Чернявку, но у крыльца остановился, как вкопанный – на ступеньках сидел незнакомый человек в военной фуражке с малиновым околышем.

– Тебе кого? – спросил малиновый.

– Это наш дом, – ответил я.

– Ваш дом? – переспросил малиновый. – Тогда входи!

Я вошел и не узнал нашего дома: все вещи были сдвинуты, все дверцы распахнуты. На полу валялись книги и бумаги. Даже Вячеслав Михайлович на стене висел как-то криво. Второй малиновый по-хозяйски рылся в ящичках материнского «Зингер-полукабинета» и вынимал горстями лоскутки, пуговицы и другую мелочь. Я не сразу увидел родителей. Они сидели в сторонке, у стены, с неподвижными лицами. Я еще никогда не видел у них таких лиц.

– Это кто? – спросил второй малиновый.

– Сын, – ответил отец, – можно ему сесть?

Малиновый хмыкнул утвердительно. Тогда я потихонечку сел на табуретку, которая стояла посреди комнаты. «Виталий, – ровным голосом сказал отец, – у нас обыск. Сиди и смотри!» И я смотрел, как совсем чужие люди перетряхивали нашу одежду, читали наши письма и отцовские бумаги, как перепуганные Веркины родственники-«понятые» дрожащими руками подписывали что-то. А потом мне было разрешено проводить отца до ворот. У ворот малиновые остановились.

– Посреди дороги положено водить, – сказал один.

– Так ведь грязь, – возразил другой.

– Ведите по тротуару. Куда я тут сбегу? – пожал плечами отец.

Так они и уходили по дощатому узкому тротуару. Отец шел первым, а за ним, переговариваясь о чем-то своем, шли малиновые. Отца я больше никогда не видел. И, сколько я помню, мать больше никогда не пела. Ни про «андалузскую ночь», ни про «рыцаря и князя». Теперь по ночам она что-то писала, я находил скомканные и перечеркнутые тетрадные листочки и все про одно и то же: «Дорогой Иосиф Виссарионович! – писала мать. – Произошло ужасное недоразумение!» Она носила передачи, ждала казенных ответов, темными вечерами к ней приходили знакомые жены арестованных мужей и они долго обсуждали что-то. Помню, одна из них принесла «хрустальный» шар и положила его на черную бархотку. А потом они зажгли свечи, уселись тесным кружком вокруг шара и долго на него смотрели. Кто-то им пообещал, что если на этот шар долго смотреть и при этом загадать желание, то они увидят своих мужей в их тюремных камерах. Но с гаданием что-то не получилось, и мать опять проплакала всю ночь. А на утро я снова нашел много скомканных листков.

Не знала мать, а я и подавно, что многие тысячи матерей и жен во всех концах страны пишут Иосифу Виссарионычу, Лаврентию Палычу и прочим об «ужасных недоразумениях», случившихся с их близкими. Мать пыталась устроиться на работу, но никто ее не брал, потому что «жена врага народа не должна работать в советской школе». Однако матери повезло – жена другого врага народа (та, что с шаром) пристроила мать учетчицей по сбору утильсырья. Мать приходила поздно, очень усталая, потому что шла с другого конца города. Запершись на кухне, она долго отмывалась и меняла одежду. Теперь она не плакала по ночам, и лицо у нее было упрямое. С таким же упрямым лицом она поднималась утром, кормила меня и отправлялась учить утильсырье.

Ту ночь я запомнил на всю жизнь. Мы услышали тихий стук в окно, и мужской голос позвал: «Гутя, Гутя!» Так называл маму только отец. За окном белело чье-то лицо.

– Гутя, я от Вячеслава, – сказал голос.

Мать кинулась к дверям. В комнату вошел небритый человек в мятой шинели и летном шлеме.

– Не бойтесь меня, – быстро сказал человек, – Вячеслав просил передать... уезжайте отсюда к вашему отцу.

Человек протянул узкую полоску бумаги. Мать схватила записку и впилась в нее глазами.

– Это не Вячеслав писал, – сказала она.

– Писал Вячеслав, но до этого его... его допрашивали.

Человек сел и замолчал. Мать ждала.

– Мы с Вячеславом однокамерники... Я – военный летчик... Меня сегодня выпустили. А его вот... пока нет. – Гость вдруг поднялся. – Уезжайте поскорее, Гутя, вас могут разлучить с сыном. Обо мне ни с кем не говорите. Счастливо.

И летчик ушел. Мы с матерью долго разглядывали записку. Бумажка была помятая, с оборванными краями, а написано карандашом, вкривь и вкось, словно бы детской рукой.

С утра мать заварила клейстер и мы пошли по Октябрьской расклеивать на заборах объявление: «Срочно продается корова. Кличка – Чернявка. Недорого». Мать плотно прижимала листки к столбам и доскам, а лицо у нее было упрямое.

Дед Данило Фомич приезжал к нам недавно погостить и поглядеть, как мы устроились в Благовещенске. Он любил мою мать – старшую дочь Августу, а всего их у него было пять: от первой жены Фелицаты – три, от второй – Александры – еще две, а от третьей, неизвестной нам Марии Исааковны, проживающей ныне в Омске, дед получил в приданое еще двух готовеньких приемных дочек. Так что всего получилось семь! «В этом бабском царстве ты один – моя надежда, – внушал он мне. – Да и то, ты не Трапезников, а какой-то Мельников!» После первой рюмки дед сразу начинал рассказывать про русско-японскую войну. Тридцать лет назад он воевал в Манчжурии, неподалеку от Благовещенска. Ему здесь так понравилось, что после войны он выписал сюда Фелицату и здесь укоренился. Он говорил про эту войну так, будто она закончилась вчера. Он поносил русских генералов и пересказывал армейские прибаутки. «Куропаткин в Ляояне, как тетеря в гаоляне!» – кричал дед, ожидая веселой реакции слушателей. После второй рюмки Данило Фомич исполнял свою любимую песню:

Раз полоску Маша жала,
Золоты снопы вязала,
Молодая! Эх! Молодая!
В это время из похода
Шел солдат шастого года
Из Китая! Из Китая!

На этом месте мать всегда пыталась деда остановить, но остановить его было невозможно.

Парень видит: баба пышет,
Рубашонку грудь колышет
Молодая! Из Китая! Молодая!

После этого куплета меня обычно отправляли погулять.

Рассказывая о своих подвигах на сопках Манчжурии, дед как-то перескакивал еще через две войны – через мировую и через гражданскую – и плавно переходил к мирным временам. На то были причины. Крестьянина Данилу Трапезникова забривали на войну много-

кратно. И если с русско-японской все было понятно, то дальше начиналась путаница. Его мобилизовали и демобилизовали: царское правительство, временное правительство, колчаковское правительство, советская республика, дальневосточная республика. Сколько раз в его село Видоново Тобольской губернии входили очередные победоносные войска, столько раз победители и зачисляли крестьянина Трапезникова в свои ряды. Конечно, когда «разгромили атаманов, разогнали воевод», советская власть объявила всеобщую амнистию, но дед, понасмотревшись на всякие власти и правительства, тихо поселился в сторонке – в Омске. «Совью свое гнездо!» – объявил дед, зазывая нас в гости. И вот мы теперь спешно пакуем медвежьи шкуры и «Зингер-полукабинет». Мать аккуратно обшивает мешковиной швейную машинку – отдельно и кружевной чугунный станок – отдельно. Химическим карандашом она выводит: «Станция назначения – ст. Омск».

Но дед Данило Фомич так и не свил своего гнезда. Мы приехали в Омск на Тверскую улицу восемьдесят «а» и увидели мазанковую халупу в два окошка с недоделанной свежей пристройкой и нарисованной на ней большой буквой «А». Было раннее утро. С полу уставилось на нас множество женских и детских глаз. Никогда не думал я, что у меня столько теток и двоюродных сестер. Родные дочери деда уже народили своих дочерей, а две дочки неизвестной нам Марии Исааковны еще по две девчонки. Из них одна пока не умела говорить, а другая вообще была глухонемой. И все это семейство кричало, мычало, непрерывно требовало поесть, пописать и покакать.

А деда Данилу в разгар достройки задуманной пристройки пришли и арестовали малиновые «за сотрудничество с адмиралом Колчаком». Приговор: десять лет «без права переписки». Мы тогда еще не знали, что на языке малиновых это означает «расстрел».

Дедовское гнездо с шумом и плачем поднималось и с такой же суетой и криками устраивалось на ночлег. Это было нелегкое дело, потому что на полу нашей хибары нужно было расположить еще и мужей, возвращавшихся вечером с работы. Никто нас здесь не ждал, но и уехать отсюда мы тоже не могли – мать боялась потерять связь с отцом и боялась малиновых. Оказывается, прав был летчик: таких, как мы, приказано было разделять. Ребенка – в детдом, мать – в ссылку.

В школе на самой окраине Омска требовался библиотекарь. Мать согласились взять временно, на полставки, без отметки в паспорте. Мы стали жить в библиотеке – приходили на Тверскую только ночевать. Брели в темноте по колено в снегу, потому что уже наступила зима. Мы приходили в храпящую и сопящую хибару, и мать в запечном закутке потихоньку стирала и гладила, для того чтобы наутро в школе и библиотеке мы «выглядели прилично».

Явление Оверьки Чижика

В нашем библиотечном сидении мать все чаще вспоминала свое детство, дедовское село Видоново и многочисленную сибирскую родню. Я узнавал всякие интересные истории про Трапезниковых и Трусихиных.

Трапезниковы занимались хлебопашеством, извозом, держали почтовых лошадей, а прадед Фома Иваныч даже построил отдельный просторный дом – «фатеру» – для всякого проезжего начальства. Трусихины, родня по женской линии, разводили птицу – кур, гусей, уток – и гнали зимой обозы с мороженой птицей на дальние сибирские ярмарки в Ишим, Ирбит и даже в Семипалатинск. Здесь они обменивались товарами с кочевым народом – киргизами и казаками. Получилось так: у Трусихиных был товар, а у Трапезниковых лошади, чтобы этот товар перевозить. На том они познакомились, подружились, а потом и породнились. Доходило до того, что если в роду Трапезниковых рождалась девочка и ее называли Августой, то и новорожденную девочку из Трусихиных тоже называли Августой.

Многочисленный, трудолюбивый и сплоченный клан Трусихиных-Трапезниковых задавал тон в Видонове. Мать рассказывала и про других видоновских жителей. Неподалеку от Видонова, за рекой Ишим, жила, к примеру, семья местного колдуна и конокрада Гришки Распутина. Гришка притащился в Питер, заколдовал царя с царицей, а потом никак не мог расколдовать. Он даже приезжал в Видоново, каялся всенародно и подарил жене шаль с царицына плеча. Потом он все-таки опять потащился в Питер, снова принялся за свое, и его, слава богу, утопили. Такова была видоновская версия.

– Жили здесь сытно и привольно, – говорила мать, – бедствовали только уж совсем ленивые.

Мать рассказывала про какое-то семейство по кличке Чижики. Чижики не сеяли, не пахали, летом попрошайничали, а всю зиму сидели на печи, потому что порток у них не было.

– Это сказка? – спросил я.

– Самая настоящая быль, – ответила мать.

Теперь у нас с матерью появилась цель и мечта: когда весной вскроются реки, мы поедем в Видоново. Столько там родни! Найдется и для нас уголок.

– А как же папа? – спрашивал я.

– Мы обязательно встретимся и найдемся! – Лицо у матери становилось привычно упрямым.

– Расскажи мне тогда про Мельниковых, – требовал я.

И мать рассказывала, как дед Владимир Мельников с женой Евдокией и четырьмя детьми жили на горных золотых приисках, как мой отец – Вячеслав – стал лесничим и как они с матерью познакомились.

– А почему он Вячеслав? – допытывался я.

– А потому что, когда-то очень давно, Мельниковы дружили с семьей ссыльных поляков. И тогда польского мальчика они сговорились назвать Владимиром, а русского – Вячеславом.

– Тогда уже были ссыльные? – удивлялся я.

– Ссыльные были всегда, – заключила мать.

Мы ждали весны! Все дозволенные мне по возрасту книжки в нашей родной библиотеке были уже прочитаны, и теперь я читал, что попало. Особенно я любил рыться в куче потрепанных книжек с ятями и твердыми знаками. Там я нашел «Вечера на хуторе близ Диканьки», которые были списаны в утиль за «мистицизм и мракобесие». Таких слов я не знал, но, прочитав «Вечера», уже сознательно искал книжки Гоголя. Я никогда не читал и не

чувствовал ничего подобного. Было страшно и смешно, больно и радостно погружаться в «Это»! И я никак не мог понять, как он «Это» делает? Мой затрепанный, списанный Гоголь!

Мы с матерью пошли к Иртышу поглядеть на ледоход. Наконец-то он начался! По сравнению с Зеей или Амуром, ледоход был так себе – жиденький, но мы побывали в затоне и убедились, что пароходы уже почти готовы к навигации. Там подкрашивали и прихорашивали «Софью Перовскую», «Клару Цеткин» и «Розу Люксембург». У нас на Амуре был «Сергей Лазо». С ним все было ясно – он прославился тем, что японцы его сожгли в паровой топке. Но что сделали со всеми остальными женщинами, включая Веру Засулич? Их тоже сожгли? Когда я спросил об этом у матери, она засмеялась и ответила, что я весь в отца. «А все эти женщины – прославленные революционерки», – объяснила мать. Потом мы стали обсуждать, как нам получше упаковать вещи, если мы отправимся в Видоново.

Во дворе нас встретила глухонемая Виктория. Она мычала, разводила руками, изображая что-то огромное, и тащила меня за руку в дом. У нас был гость. Это был действительно большой и толстый человек со значком «Осоавиахима» на мятом пиджаке. Он сидел на почетном месте, в окружении всех наших женщин.

– Этот товарищ из Видонова, – сказала Мария Исааковна.

– Оверька! – закричала мать. – Это ты?

Человек встал и указал на мать пальцем:

– А ты Гутька Трапезникова! Правильно? Ну что, бабы? С приятной встречей?

Но встреча получилась совсем не приятная. Вечером подвыпивший Оверька, то ругаясь, то всхлипывая, рассказывал видоновскую историю. Года полтора назад всех крепеньких видоновцев, включая, конечно, и Трапезниковых с Трусихиными, без барахла и одежды – в чем были – погрузили в открытые баржи, дали на каждую семью по мешку муки, по топору и пиле и отправили в устье Иртыша, в гиблые места под Остяко-Вогульск.

– Но ведь ты бедняк и всегда был бедняком! – восклицала мать.

В ответ Оверька зло смеялся.

Когда в Видонове стали прижимать «мироедов», нищие, никчемные Чижики оказались на виду, их повыдвигали в комбеды², и они почувствовали себя почти что начальством. Тогда Оверька Чижик и решил приударить за Августой Трусихиной – маминой двоюродной сестрой. Трусихины, стиснув зубы, терпели Оверькины ухаживания, но время было непонятное, шаткое, и Трусихины дали согласие на брак. При составлении черных списков Оверька автоматически оказался «членом семьи мироедов». При раскулачивании его вместе со всеми Трусихиными загнали на баржу и, словно в издевку, назначили старшим, как «заслуживающего доверия социально близкого». И вот теперь Оверька прибыл в Омск выбивать для Остяко-Вогульска не то лопаты, не то дефицитные продольные пилы. Паспорта у него, как и у всех Трусихиных, не было, и числился он спецпереселенцем. Всю ночь поселенный на чердаке нашей халупы пьяный Оверька пил, разговаривал сам с собой, возбужденный воспоминаниями, кричал: «любовь зла!» и хохотал на всю Тверскую улицу. Тем не менее, при всяком удобном случае, Оверька называл Остяко-Вогульск лучшим местом на земле и звал мать приехать.

Однажды мать провожала меня до школы и вдруг спросила:

– А как ты думаешь, сынок, не уехать ли нам отсюда в Остяко-Вогульск?

– В ссылку? – удивился я.

Мать пожала плечами:

– Просто переедем из Сибири в Сибирь.

– На барже?

² Комитеты бедноты. Распределяли помещичьи земли и инвентарь, вместе с продотрядами и местными советами проводили продразверстку и набор в Красную Армию. – *Ред.*

– Почему же? На пароходе! Мы ведь пока что свободные люди. И там у нас родственники. Валериан Прохорович разузнает, можно ли к ним туда приехать.

Мы долго шли молча. Потом мать сказала:

– Ты уже большой и должен понимать, что деваться нам некуда. Вот освободится отец и нас найдет. И, пожалуйста, не называй Валериана Прохоровича Оверькой!

Перековка

Через месяц пришла чудная телеграмма: «Ждем на жоресе зпт гутя тчк». Это означало, что мы приедем на пароходе под названием «Жорес», а Гутя – это Августа Трусихина – двоюродная сестра матери и жена Оверьки, то есть Валериана Прохоровича.

«Жорес» был замызганный однопалубный пароходишка. Очень старый. Я бродил по пароходу и разглядывал медные позеленевшие буквы: «Господь пассажиров четвертаго класса просяты на палубу не выходить». Мы как раз и ехали «четвертым классом». Это был узкий проход вдоль отгороженного решеткой машинного отделения. Проход до самого верха был завален «швырком» – толстыми поленьями дров, которые, по мере надобности, перетаскивали вниз, в кочегарку. Надобность могла возникнуть и днем и ночью – в любое время, и тогда «господь пассажиров» сгоняли со штабелей. А, как только надобность пропадала, каждый заново сооружал себе гнездо для ночлега и дневного пребывания. Путь был не близким – «по воде», то есть по течению, – дней восемь, а против воды и того больше. Каждый запасался едой на всю дорогу. Запасались и всякими подстилками, чтобы уберечь бока от сучковатых поленьев. Чего здесь было вдоволь, так это воды, как забортной, из Иртыша, так и кипятка из кочегарки.

Я поднялся на палубу, и никто меня не остановил, как сделали бы, наверное, в царское время. На палубе было полно народу. Тут расположились «палубные пассажиры», которым ехать было не долго, дня два-три – не больше. Они пели, играли на гармошках и ели. Это были обыкновенные русские люди, но они говорили на «о», свою одежду называли «лопотинной», а ругались и удивлялись очень смешно. Они громко и часто повторяли: «На, ляшак! На, ляшак! На, ляшак!» Или: «На, бяда! На, бяда! На, бяда!» Берегов не было видно, и казалось, что мы плывем по морю. Кое-где над водой торчали островерхие тесовые крыши и колокольни со сбитыми крестами – еще не схлынуло весеннее половодье. Из ниоткуда время от времени появлялись лодки и причаливали к пароходу. С лодок на ходу выгружали баб, детей, курей в корзинах и всякий скарб. К наводнению здесь относились спокойно, привычно и бедствием, похоже, не считали.

В конце концов, «Жорес» наш оказался у очередного устья – там, где сливаются Иртыш и Обь. Доплыли мы, как утверждали коренные чалдоны, до того самого места, где когда-то причалили челны Ермака и дружина его призадумалась. Если поглядеть с самаровской горы, отделяющей старинное село Самарово от строящегося Остяко-Вогульска, то понять растерянность Ермака можно было вполне. Впереди расстилалось безбрежное плоское пространство, и не было никаких ориентиров, чтобы пространство это можно было с чем-то соизмерить. Это был типичный и ярко выраженный конец света. Увидеть такую бесконечность и не ужаснуться было бы странно. Именно с этого места, по утверждению чалдонов-старожилов, ермаковцы, от греха, повернули обратно, и как раз в этом месте причалила лодка, груженная нашим «Зингер-полукабинетом».

Родственники четко делились на темноволосых Трапезниковых и на сплошь белобрых Трусихиных. Оверька, все в том же мятом пиджаке, но при галстукe, нас знакомил и объявлял степень родства. В стороне стоял и застенчиво улыбался еще один родственник.

– А это Франц – подкидыш, вроде меня, – пояснил Оверька. – Опять-таки жертва несчастной любви!

По случаю нашего приезда Оверька был уже навеселе. Дядя Евграф – мой двоюродный дедушка по трусихинской линии – взялся за вожжи, и мы тронулись. Пока я знакомился с сибирскими братьями и сестрами, Оверька рассказывал про Франца. Во время первой мировой войны Франц попал в плен к русским. Война была кровопролитная, русские деревни пустели – некому было пахать и сеять. И тогда было решено отправлять пленных

немцев и австрийцев в русские деревни в качестве работников. Из отдаленных селений, особенно сибирских, бежать пленному было невозможно. Так в Видонове, в семье Трусихиных, и появился работник Франц.

Война тянулась и тянулась, а жизнь шла своим чередом, и одна из видоновских девочек Лида Трусихина в этого Франца влюбилась. Франца тоже подкосил любовный недуг. Никакие мольбы и угрозы родственников не помогали – влюбленные были неразлучны. Окончилась война мировая – началась гражданская. Колчаковцы сменились белочехами. Тут бы и бежать Францу с чешскими эшелонами на отчизну, в Австрию, но Франц – ни в какую. А для надежности Франц с Лидой родили ребеночка. Семейный совет развел руками и решил: «женить их, раз такое дело». Пришли Советы. Мироедов Трусихиных отправили на баржу. Ну и «мироед» Франц отправился туда же. И теперь он со своей застенчивой улыбкой на устах корчует пни у нас под Остяко-Вогульском, откуда даже Ермак сбежал.

– А вот и наша Перековка! – показал кнутом двоюродный дед Евграф. Внизу, под самаровской горой, дымило множество костров, копошились люди с топорами и лопатами. Среди вывороченных огромных пней с растопыренными корневищами желтели кое-где свежесрубленные срубы.

– Это место Перековкой названо, чтобы кулаки и мироеды перековались здесь для новой жизни! – злорадно объяснил мне Оверька.

– Сам дурак! – откликнулся Евграф. – Ты, Витёк, вон туда гляди! Во-он моя конюшня!

Мы остановились у сколоченного из горбыля сарайчика. Рядом аккуратно сложены были заготовленные бревна, и откуда-то из-под земли шел дым.

– Моя земляночка, – объяснил Евграф, – здесь буду зимовать, а к весне сруб поставлю. Лошадь у меня уже есть – у чалдонов на самовар сменял.

– Вот кулачье, вот мироеды! – кричал Оверька, – через год его опять кулачить надо!

Родственники наперебой пересказывали матери свои заботы и планы. Августа Трусихина объединилась с Трапезниковыми и уже подвела дом под крышу. В этом новом доме и произошло празднество в честь нашего приезда. Собравшиеся видоновцы вспоминали незнакомое мне прошлое, подвыпив, смеялись, потом плакали, потом красиво и слаженно пели протяжные сибирские песни. Евграф подсел ко мне и долго рассказывал, какие замечательные лошади были у моего прадеда Фомы, а также о том, как обмененная на самовар лошадка ожеребится и постепенно у него, Евграфа, расплодится табун и будут у него снова тройки почтовых, и обозы с товарами пойдут в дальние края. Празднество испортил явившийся без приглашения местный малиновый. Он вежливо спросил, по какому случаю торжество, поздравил мать с приездом и попросил предъявить паспорт. Мать сказала, что приехала сюда в отпуск. Малиновый полистал паспорт, удивился и посоветовал отдыхать южнее – где-нибудь в Крыму. «А у нас тут комары и спецпереселенцы», – пошутил малиновый. Оверька объяснил, что моя мать – сестра его жены и что она ненадолго.

– На сколько? – поинтересовался малиновый.

– На месячишко, – заверил Оверьян.

Когда малиновый ушел, все стали обсуждать, что теперь с нами делать.

– Ты что сболтнул? – говорила Августа Оверьке, – он же проверит!

– А что я мог? Гутя первая сказала про отпуск!

После долгого совещания решили искать для нас местечко у чалдонов – подальше от спецпоселений.

Дальше мы передвигались на рыбнице – деревянной толстобрюхой посудине со слабеньким, надрывно пукающим движком. Рыбница тянула за собой на буксире еще три пролези – лодки для перевозки живой рыбы. Нас пристроили в глухую деревеньку Цынгалинские Юрты. Малиновые редко сюда забредали – наверное, отпугивало негостеприимное название с намеком на цыngu. Для матери место учительницы здесь нашлось. Мимо нас про-

плывали нежилые таежные берега. Выли комары. Наш «Зингер-полукабинет» на замызганной палубе рыбницы смотрелся загадочным марсианским сооружением.

Но ничего ужасного мы в этих Цынгалах не обнаружили. Все знакомо, все похоже. И казалось: вот-вот выедет на лесную дорогу отец на вьючной лошадке и возвратится к нам после скитаний по засекам и просекам амурской тайги. «Как он нас теперь отыщет, как найдет?» – спрашивала мать, обустривая нашу очередную «фатеру». Мы поселились в новой чистой избе с выскобленными добела полами и кружевными занавесками. Это был дом сельповского кладовщика Николая Степановича.

По цынгалинским меркам, кладовщик – это большой начальник. В его руках и под его присмотром все поступающие в сельпо товары. Он знает, когда и что в Цынгалы завезут, какая предполагается нехватка, чтобы предусмотреть и впрок закупить все необходимое. Особенно рыболовные снасти и охотничьи припасы. С Николаем Степановичем здоровались уважительно, почти как с Васей-партизаном. У Васи была репообразная голова и маленькие хитренькие глазки. Вася-партизан никогда партизаном не был, но из-за его хромоты прицепилось к нему такое прозвище. Когда Вася с берданкой на плече выходил, прихрамывая, из лесу после очередной охоты, у него был вполне партизанский вид. А по социальному своему положению Вася был продавец в сельпо. Еще неизвестно, кто главнее в деревенской жизни – кладовщик или продавец!

К нам в избу под разными предложениями с первого дня потянулись цынгалинцы – поглядеть на приезжих и познакомиться. Первым прихрамал Вася-партизан, якобы обсудить сельповские дела с коллегой-кладовщиком. Выяснив имя и отчество новой учительницы, Вася пообещал свою поддержку по части обустройства на новом месте. Потом спросил деликатно про мужа. Мать ответила, что сейчас он на Дальнем Востоке, но надеемся, что скоро приедет. Вася ничего не понял, но уважительно покивал. Знакомство состоялось.

После начальства как ближайшая соседка пожаловала Таня-Маремьяна. Татьяна была из местных, которых советская власть почему-то переименовала из остяков в национальность ханты. Таня-Маремьяна с мужем Ваней жили оседло, среди русских чалдонов, и занимались рыболовством в местной артели. На вопрос, почему она еще и Маремьяна, Таня ответила, что не знает, потому что поп крестил, да пьяный был. Ваня согласно закивал, словно был свидетелем на крестинах собственной жены. Потом Ваня намекнул, что с приезжих причитается «со знакомством». Хозяйка Татьяна Васильевна посоветовала соседей не приваживать, потому что они «попивают». Ваня возмутился и заявил, что пришли они от чистого сердца и не пустые. Он похлопал по грязной, лоснящейся от рыбьей чешуи, малице³ и достал из-за пазухи извивающуюся живую стерлядку.

– Ну, – сказала хозяйка, – Ваня с дарами пришел. Придется тебе, Даниловна, уху варить и подносить Ване «со знакомством».

Соседи быстро развеселились, Ваня пел, а Таня-Маремьяна танцевала остяцкий – он же хантский – танец. Хозяйка нас остерегла, что прерывать их нельзя, а то они обидятся. Таня танцевала долго, потом к ней присоединился еще и трехгодовалый Ваня-младший. Ваня-старший дал отхлебнуть из своей рюмки Ване-младшему и веселье возобновилось. Поздно вечером довольные соседи повели нас в свой дом. На почерневших от копоти бревенчатых стенах висели рыболовные снасти: переметы, самоловы, остроги и прочее. Никакой мебели не было, потому что все спали на печи, а ели на полу. Впрочем, пола тоже не было – под ногами хрустел толстый слой всякого мусора и рыбьих костей. По всему видно было, что хозяева от юрты отказались, а к избе не привыкли. Со стены, рядом с острогами и сетями, Ване и Тане улыбались наш старый знакомый Вячеслав Михайлович и герр Рибен-

³ Малица – мужская одежда ненцев и части хантов и коми (оленевонов), длинная без разреза рубаха с капюшоном из оленьих шкур мехом внутрь. – *Ред.*

троп, германский министр иностранных дел. Как раз, в нынешнем, сороковом году они здорово подружились и сфотографировались на память для журнала «Огонек».

Наступила осень, и все в деревне готовились к зимовке: утепляли оконные рамы, поправляли завалинки, конопатили стайки для скотины, чтоб не дуло зимой коровам, поросятам и курам. По сибирскому обычаю жилой дом и скотный двор помещались под одной крышей – так сподручнее ухаживать за скотиной, а в лихую погоду можно неделями отсиживаться от вьюг и морозов. В таком доме, как в крепости!

Цынгалы – это десятка четыре потемневших от непогоды бревенчатых крепостей, рассыпанных на полоске земли между берегом Иртыша и тайгой. Плюс – сельповский магазинчик, плюс – аккуратная часовенка, плюс – длинная изба-пятистенка – Цынгалинская неполная средняя школа. Вот, кажется, и все. Пароходы здесь пристают редко – только, когда запасаются дровами. Электричества нет. Почту сбрасывают с пароходов на ходу. До ледостава всякая связь с внешним миром прекращается. Когда лед окрепнет, по Иртышу накатывают санную дорогу, и по ней от Омска и Тобольска тянутся обозы и мчится почта. Такую почту называют «веревочка», потому что обозы в пути вытягиваются на узкой санной дороге в длинную цепочку. Через деревеньки и села почта проскакивает со звоном колокольчиков, лихим гиканьем и свистом, а потом снова вытягивается в «веревочку» на белых просторах замерзшей реки. Цынгалинские школьники все знали и понимали про «колокольчик однозвучный» и про «глушь и снег навстречу мне». Знали не по книжками, а по жизни. Так было при Пушкине, так было при двоюродном моем деде, лошаднике Евграфе, так было и при нас, в одна тысяча девятьсот сороковом году.

Роньжа

Ближе к первому сентября в Цынгалы стала съезжаться местная интеллигенция. Однажды, когда я шел мимо школы, меня окликнул с лестницы толстый человек в перепачканной известью ситцевой рубахе.

– Ты ученик? – спросил он меня.

Я сказал, что ученик.

– Тогда лезь ко мне! – и толстяк стал карабкаться на крышу.

Я полез за ним. Когда мы добрались до конька, толстяк отдышался и объявил: «Считай, что у нас сейчас урок труда – будем трубу белить!» Это был преподаватель истории и географии Григорий Григорьевич Григорьев, а сокращенно – Гри-Гри. Утром я проснулся оттого, что кто-то с улицы меня негромко окликает: «Ученик! Эй, ученик!» Под окном опять стоял Гри-Гри в старом ватнике и с берестяным коробом за плечами. Из окна выглянула мать, и историк церемонно поклонился. Они познакомились, и я получил разрешение на совместную с Гри-Гри ознакомительную прогулку.

Прогулка началась с того, что мы набрали полный короб спелой черемухи. Лазал по деревьям я, потому что Гри-Гри мешала полнота. Потом он отдыхал на пеньке, а я ел малину. Увлеченный этим приятным делом, я не сразу почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Из сумрака кустов уставились на меня два блестящих глаза. Мы долго смотрели друг на друга – два глаза и я. Потом я отступил, и под ногой хрустнула ветка. Надо мной вдруг выросло что-то огромное и мохнатое. Мохнатое заревело, открывая розовую пасть. И тут же я услышал голос Гри-Гри. Он громко кричал нехорошие слова, которые мне запрещено было произносить. Мохнатое отступило, не то застонало, не то захрюкало и кинулось прочь, ломая кусты. Гри-Гри даже не слез с пенька.

– Ты матери не говори, что я тут ругался, – попросил Гри-Гри, – медведи, видишь ли, матерщины боятся!

– Это был медведь? – испугался я.

Историк равнодушно кивнул.

От малинника в лес тянулась желтая полоска чего-то жидкого.

– Это его от страха медвежья болезнь прихватила, – пояснил Гри-Гри, – а пошли-ка на Чугас-гору! Там интересно!

С Чугас-горы видно было, как извивается Иртыш и теряется в бесконечности лесов, как плывут по нему словно из спичек связанные плоты и одиночные, совсем игрушечные, лодки. Но интереснее всего было у подножия Чугаса, на остяцком кладбище. Остяки здесь зарывали своих покойников, а на могилах оставляли все необходимое для будущей загробной жизни. У могил на деревьях висели рыболовные снасти, полуистлевшие звериные шкуры и малицы. Лежали проржавевшие ножи, наконечники копей и острог. И даже старинное кремневое ружье лежало! Чуть ли не времен Ермака! Были здесь и женские бусы, ожерелья, посуда... Здешние жители – и остяки, и русские никогда ничего не трогали на этом кладбище. Даже мальчишки! Гри-Гри рассказывал, как жили эти люди. Как они охотились и ловили рыбу, во что верили и как храбро защищались от казаков Ермака. Он бегал среди могил, размахивал руками и наглядно изображал, как и что происходило много лет назад. В эти минуты он совсем не казался толстым и смешным.

Началась учеба. Директор Трофим Моисеевич произнес речь о пользе учения, о том, как нас всех любит дорогой товарищ Сталин, и еще о том, что бродяжничать в тайге без спроса, да еще целыми неделями, нехорошо – Сталин нас за это не похвалит. При этом директор поглядывал на задние ряды, где обосновались ребята ханты и манси. Как рассказывал

Гри-Гри, эти ребята имели обыкновение сбегать на охоту или рыбалку в процессе обучения, прямо с урока, иногда даже через окно. «Особенно, с уроков истории», – огорчился Гри-Гри.

Потом директор обратился к новичкам. Он назвал мою фамилию и сообщил, что я приехал с Дальнего Востока, где наши пограничники ежедневно бьют японских самураев. Все головы повернулись ко мне. Я встал и сказал, что видел одного японца, и он погрозил мне кулаком. «Молодец, Мельников!» – почему-то похвалил меня директор. Знал бы я, к чему это приведет!

На каждой перемене меня обступали ребята и требовали всяких боевых подробностей. Чтобы их не огорчать, я эти подробности выдумывал. Тогда они стали требовать продолжения. Наступили для меня тяжелые времена. Каждый раз, собираясь в школу, я мучительно вспоминал, что врал накануне. Я должен был держать в голове кучу выдуманных мною подробностей и продолжений, чтобы меня не уличили. Кроме того, мне тут же прилепили прозвище «самурай»! Оно держалось до тех пор, пока ко мне не привыкли.

В своей торжественной речи Трофим Моисеич особо обратился к группе совсем взрослых девчат и парней. У одного даже были усы. Новички приехали из дальнего лесного урочища и говорили, как моя подружка Верка, на «мове». Но Верка была «голодающая», а новички были спецпереселенцы. Новички в школе никогда не учились и теперь должны были начать с первого или второго класса. Директор сказал, что он за них поручился и что «сын за отца не ответчик».

В их спецпоселение ездила мать по поручению директора, а меня взяла с собой. Это был самый настоящий украинский хутор, как у Гоголя! Хутор стоял в глухом урмане⁴, на расчищенном от деревьев пятачке. На этом пятачке лепились беленькие хатки, их окружали плетни, на плетнях – глиняные горшки, а за плетнями – подсолнухи. Живя в лесу, переселенцы бревенчатых домов не строили, а лепили глинобитные хаты, как делали их деды-прадеды на теплой степной Украине. А еще глубже в тайге жили какие-то молокане. Они всех сторонились и детей в школу не пускали. Год назад к молоканам прибыли малиновые для установления личностей. Но молокане заперлись все в одной избе, а избу подожгли.

Выспрашивать, кто ты, откуда и почему здесь объявился, в наших краях было не принято. Все друг о друге, конечно, узнавали, но не сразу, а постепенно. Вот Роньжу, например, аж из самой Москвы завела в Цынгалы большая любовь. Все это знали. Про это рассказала сама переполненная чувствами Роньжа случайной попутчице, с которой они вместе плыли на пароходе «Третий Интернационал». Роньжа и думать забыла про этот разговор, но попутчицей оказалась фельдшерица из соседней деревеньки со смешным названием Семейка. Семейкинская фельдшерица тут же рассказала все бакенщику, который перевозил ее с парохода на берег. А бакенщик, как известно, зажигает сигнальные огни по всему фарватеру. И получилось, что, когда Роньжа прибыла в Цынгалы, про ее любовь знали все, даже Таня-Маремьяна и Ваня-маленький. Сама виновата! Не откровенничай с первым встречным – это тебе не Москва!

Теперь нужно, наверное, объяснить слово «роньжа»? В Сибири есть такая птица – кедровка, но, по-местному, она называется роньжа. Она рыженькая, вертлявая и у нее над круглыми глазками тоненькие, словно рисованные, бровки. Наша Лидия Андреевна была вылитая роньжа. Цынгалинцы не понимали, почему в Москве нарисованные брови считаются лучше настоящих. В той же самой Москве, по слухам, началась и непостижимая для цынгалинцев любовь Роньжи и Вадим Вадимыча. Роньжа преподавала русский, а Вадим – рисование и пение. Непонятно было, отчего видный, здоровый мужик занимается такими пустяками. Но потом все привыкли и поняли: Роньжа – большая выдумщица. Она выдумала себе жизнь и Вадимыча тоже выдумала. Выяснилось, что Вадим умом не отличался, рисовать не

⁴ Урман (тюрк.) – темнохвойный лес (пихта, сосна кедровая, ель). – Ред.

умел и петь тоже. В прошлой московской жизни он был скромным школьным завхозом, а Роньжа полюбила его за то, что в профиль он был похож на Печорина и Онегина одновременно, не говоря уж о его имени: Вадим!

Поначалу столичные коллеги Лидии Андреевны с пониманием отнеслись к этому роману, но нарушился учебный процесс: Лидия Андреевна на уроках языка и литературы говорила только о Вадиме, сравнивала его то с Печальным Демоном, то почему-то с Павкой Корчагиным и перечисляла всенародно его милые домашние привычки и склонности. Состоялся педсовет. Влюбленной деликатно намекнули, что она ведет себя непедагогично. Роньжа вспыхнула, заявила в ответ, что «рожденные ползать летать не могут» и что ей чужды предрассудки, а с Вадимом она готова уехать от всей этой пошлости «на край света». После этого Роньжа и уплыла в Цынгалы, прихватив с собой Вадима.

И вот, теперь ветренными сибирскими вечерами Вадим покорно гуляет с Роньжей по берегу Иртыша, а она непрерывно читает ему стихи. Еще она попробовала сделать из Вадима смелого добытчика, как в книгах Джека Лондона, и велела ему заняться рыбной ловлей. За известное вознаграждение Ваня-старший соорудил Вадиму отличный перемет на пятнадцать крючков. В тот же день мальчишки нашли Вадима на берегу Иртыша. Он бился, запутавшись в леске, а в разные места одежды и тела впились крючки. Хуже всего было то, что один крючок зацепился за мочку уха. Так, на крючке, его и вели мальчишки через всю деревню к Устинье Гавриловне.

Гавриловна была высокая, худая и суровая старуха. Она размашисто вышагивала по деревне с видом хозяйки. Да она и была здесь, в Цынгалах, подлинной хозяйкой. За отсутствием попа, сосланного куда-то в Салехард, она служила в часовне, крестила и отпевала цынгалинцев, а также оказывала первую медицинскую помощь. На чердаке у нее уже много лет стоял гроб, заботливо приготовленный на случай собственной кончины. Но окончательно помирать она, вроде бы, не собиралась и пока хранила в гробу березовые веники. Осмотрев ухо, Устинья Гавриловна принялась точить сапожный нож, потом она наклонила вадимову голову над тарелкой и он испугано задергался. Тогда Гавриловна схватила его за ухо, обмакнула нож в водку и резанула мочку – о тарелку звякнул выпавший крючок. Гавриловна орудовала спокойно и привычно. С нашими ребятами на рыбалке такое случилось не раз.

Когда начались школьные занятия и приехали ребята-спецпереселенцы, в классах стало тесно. Учителя долго обсуждали, как нас всех теперь размещать. И получалось, что есть только одно подходящее место – часовня. Никто, конечно, не решался говорить об этом с Гавриловной. Боялись еще и, как говорил директор Трофим Моисеевич, «нежелательных последствий». Народ здесь ненадежный, ссыльно-каторжный, да и от местных всего можно было ожидать. Подумали и решили вызвать кого-нибудь из малиновых. Приехал малиновый, собрал учителей.

– А какой тут вопрос, товарищи? – удивился он. – С утра будем ломать.

– Как ломать? – сказал Гри-Гри, – нам нужно помещение для школы!..

– Да вы поймите, – рассердился малиновый, – это же такой удобный случай ликвидировать последнюю церковь в районе!

– А школа? – снова спросил Гри-Гри.

– Проведем разъяснительную работу, – упрямо решил малиновый.

С утра к часовне согнали школьников, притащились плачущие старухи и мрачные учителя. Малиновый уже приготовился говорить разъяснительную речь. Но в это время в конце улицы появилась Устинья Гавриловна с лучковой пилой и веревкой. Она прошагала мимо примолкших цынгалинцев и взобралась на крышу, аккуратно обмотала крест веревкой и принялась пилить. Она пилила долго под всхлипывание старух, и, наконец, крест повис на веревках и медленно пополз к земле. Здесь Устинья Гавриловна взвалила его на спину и мед-

ленно пошла прочь по грязной деревенской улице. «Как Иисус, наша Гавриловна», – сказал кто-то громко в толпе. И больше никто ничего не говорил, а все только смотрели ей вслед.

Лед на Иртыше давно уже окреп, и пришла пора добывать налима. Мы с Николай Степанычем прорубили пешней лунки и принялись поднимать переметы. Налимы сначала извивались на крючках, а потом застывали и каменели. Они падали в мешок с деревянным стуком – на реке было очень холодно и ветрено. По льду шли двое с котомками за спиной, в красноармейских шинелях и ботинках с обмотками. Лица они кутали в какое-то тряпье.

– Вы чьи, ребята? – окликнул их Николай Степаныч.

– Реполовские! – отозвался один.

– Откуда чапаете? – спросил Степаныч.

– Из Тобольска!

– Откуда? – переспросил он.

Степаныч позвал красноармейцев погреться и похлебать налимьей ухи. Прохожие оттаяли и разговорились. Идут они после демобилизации с финской войны. Попали в осеннюю распутицу и теперь вот, после ледостава, решили добираться домой на своих двоих. – Полтыщи верст! – всплеснула руками хозяйка Татьяна Васильевна и кинулась подливать гостям.

Они рассказывали такое, про что в нашей газете «Сталинская трибуна» ни слова не написано. Говорили они, что наших в войне полегло многие тысячи, а еще больше померзло в лесах и погибло безымянно и безвестно. Потом они показали нам цветные, красивые открытки из Финляндии. Там были снега и леса, очень похожие на наши, а вот дома были другие – веселенькие и чистенькие.

– И вот эдак-то люди там и живут? – охала Татьяна Васильевна. – А мы в дерьме маемся!

Николай Степаныч вдруг стал серьезным:

– Вот что, ребята, – сказал он, – вы отогрелись, отдохнули и айда домой, в Реполово. И лишнего не болтайте. Счастливо!

Зимняя жизнь в Цынгалах была однообразная и на новости скупая. Раз или два в месяц приходили с «веревочкой» письма и газета «Сталинская трибуна» величиной с развернутый тетрадный листок. В газете перечислялись имена разных победивших передовиков и стахановцев, а также обязательства других передовиков работать еще лучше. Мать, конечно, ждала хоть каких-нибудь вестей от отца, но вестей не было.

Роньжа затеяла поставить в школе спектакль – пьесу Лермонтова «Маскарад». Учителя оживились. Роньжа назначила себя режиссером и с выражением прочитала пьесу. Для начала, она сыграла за всех: и за Арбенина, и за князя Звездича, и за Шприха, и за баронессу Штраль. На роль Нины она назначила себя, а на роль Арбенина, конечно, Вадима. Плясать на балу, обниматься и целоваться с мужчинами мать отказалась наотрез, и ее определили в суфлеры. На роль князя Звездича назначили молодого математика Александра Ильича – он подходил по возрасту и у него был черный пиджак, который можно было выдать за фрак. Затруднения возникли с Гри-Гри, потому что на него ничего невозможно было натянуть, кроме его собственной ситцевой косоворотки. Решено было подумать и поискать по домам. Спор возник также из-за роли Шприха. Роньжа предложила сделать Шприхом учителя физкультуры, недавно высланного к нам из Ленинграда.

Ихо Тойвович был финн по национальности, а в финскую войну таких из Ленинграда высылали. Говорил Ихо с очень сильным финским акцентом. Роньжа заявила, что нам просто повезло – Шприх, как раз, и может говорить с акцентом. Это очень украсит роль. Стали выяснять, с каким именно акцентом должен был говорить Шприх. У Лермонтова Шприха зовут Адам – стало быть, он поляк. Но, по словам того же Лермонтова, он мог оказаться и евреем. Решили сохранить у Ихо финский акцент, тем более что он по-другому говорить и не умел.

Спектаклем заинтересовался Вася-партизан. Он бесплатно притащил в школу здоровую жестянку с керосином и теперь репетиции шли до поздней ночи. Учителя жаловались на чрезмерную требовательность Роньжи – то и дело она кричала на своих коллег «не верю!», почти как настоящий Станиславский.

Спектакль назначили после нового, сорок первого, года и ближе к Рождеству, чтобы заодно отвлечь цынгалинцев от чрезмерного пьянства и вредной привычки колядовать. Прежде такого за цынгалинцами не водилось, но переселенные сюда хохлы перетащили с собой и обычай колядовать. Жители натягивали вывороченные вверх овчиной шубы, мазались сажей и ходили из дома в дом. Ребятишки с нетерпением ждали колядок, а взрослые – с некоторой тревогой. Иногда ряженые вели себя мирно – плясали и пели, а иногда буянили и требовали выпивки. Были и такие, кто говорил всякие дерзости нелюбимым соседям. Колядок остерегались малиновые, потому что под маской, да еще в подпитии много чего говорилось лишнего.

И вот, настал день, когда в самом большом классе сколотили подмости и повесили занавес. Вася-партизан керосина не пожалел – было очень светло и жарко от натопленных печей. В школу набились стар и млад. Хоть артисты и говорили стихами, но зрители все поняли и очень переживали. Таня-Маремьяна плакала в голос, когда Нина-Роньжа ела отравленное мороженое. На самом деле, Роньжа ела из рюмки ложечкой обыкновенный снег и потом подхватила ангину. Вадим-Арбенин показывал зрителям свой профиль и сердито кричал на Роньжу: «Послушай, Нина, я рожден с душой кипучею, как лава!» Ему тоже все очень сочувствовали, а прежде над ним смеялись.

В Цынгалах наступила полоса везенья – прошел слух, что «по кольцу» к нам приближается кинопередвижка и скоро мы посмотрим кино. Какая будет картина – неважно. Нас репертуаром не баловали. Кино было немое, потому что электричества в Цынгалах не было. Для таких глухих точек, как наша, к обычным звуковым копиям изготавливали еще и надписи. Киномеханик читал зрителям вслух эти надписи, а мальчишки по очереди крутили ручку динамки. После каждой части – перезарядка. Пока мальчишки сменялись и отдыхали, зрители спрашивали у киномеханика про непонятные или пропущенные из-за бесконечных склеек места, а механик разъяснял, как умел, содержание.

Все бы ничего, но где-то в районе лучшие кинокартины припрятывали, а нам, в глушь, присылали, в основном, фильмы-оперы: «Запорожец за Дунаем» или «Наталка-Полтавка». Поскольку в опере главное – музыка, из фильмов для краткости удаляли и надписи. Смотреть, как запорожцы долго и беззвучно разевают рты, было скучновато, но ничего, терпимо. Ведь можно разглядывать еще декорации, сабли и жупаны, а механик, в конце концов, все объяснит и растолкует. Однажды нам показывали грузинский фильм «Арсен из Марабды». Это был необыкновенный, красивый фильм со стрельбой и скачками. И все происходило в высоких, скалистых горах. И люди были тоже необыкновенно красивые и смелые. В перерыве между частями я пробрался поближе к экрану. Я никогда не видел его так близко. Это была обыкновенная белая тряпка. Я, конечно, это знал, но все же отогнул угол полотнища. Я увидел там обшарпанную стену нашего класса и больше ничего – ни горной сказочной страны, ни гордых всадников... Мне было очень грустно.

Роньже понравилось быть режиссером, и она решила организовать концерт с участием теперь уже не учителей, а учеников. Я должен был изобразить в «злободневном скетче» злощого польского помещика, который всячески угнетает батрачку из западной Украины. Но в самый драматический момент появляется Красная армия и батрачку освобождает. Освобожденных украинцев играли настоящие украинцы, только ссыльные, из лесного хутора. Одетые в дедовские свитки и шаровары, они кричали «хай живз», а дивчины размахивали платочками, сохранившимися со времен их прежней жизни. Батрачка преподнесла красно-

армейцу хлеб-соль на красивом рушнике, который тоже был расшит еще до ссылки. Роньжа была довольна: все было очень убедительно – почти как в опере «Запорожец за Дунаем».

Если завтра война

В Цынгалах начиналось что-то похожее на весну. Появились и защebetали птички. На завалинках с солнечной стороны кое-где протаяла земля. На обсохших бугорках мальчишки пробовали играть в бабки и чижа. Потом просохли уже целые полянки – настало время футбола и лапты. Вася-партизан был главным футбольным болельщиком, но болел он по-своему. На всю деревню имелся единственный футбольный мяч. Покрышка еще ничего, а вот камера – латаная-перелатаная. «Эй, ребя, полегче!» – кричал Вася в самые острые голевые моменты.

И вот, вскрылся Иртыш – все стали ждать путины. У сельповского крыльца народ уже загодя занимал очередь на товары, которых еще не привезли. По вечерам в очереди бабы перекликались и отмечались. Было весело. Играла гармошка. Бабы перемывали друг другу косточки. Ребята и девчата постарше кучковались и перешучивались отдельно. Когда подвалил потребсоюзский катер с баржой, нагруженной товарами, мужики бросились помогать с разгрузкой, а бабы выстроились в длинный хвост, приготовившись стоять в очереди всю ночь. Всем нравилось это стояние. По мере разгрузки, поступали противоречивые и заманчивые сведения о товарах. Серьезный, загадочный Вася-партизан прохаживался вдоль очереди, как генерал перед войском. Настал главный Васин день!

Цынгалинцы бойко раскупали товары. Брали не то, что нужно, а что кому досталось. Главным и дефицитным товаром была мануфактура, то есть ткани. Вася заказывал ткани в районе на свой вкус. Уже через неделю женщины в деревне красовались в одинаковых платьях, а мужчины в одинаковых рубашках Васиных любимых расцветок. Материнский «Зингер» крутился изо всех сил, превращая мануфактуру в штаны и рубашки. У матери начались тяжелые дни, но отказать соседям было невозможно.

Пришло, наконец, и Первое мая с гармошками, гулянками и гостеваниями. В одном конце деревни кричал новый патефон Николая Степаныча, а в другом – Васи-партизана. Присутствие патефона в доме означало, что живут здесь основательные, обеспеченные хозяева.

- Броня крепка, и танки наши быстры! – гремело в доме кладовщика Симонова.
- И кто его знает, на что намекает? – откликнулся патефон продавца.

Мы с матерью строили планы на лето. В учительские каникулы мы решили ехать в самую Москву и добиваться приема у Всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина. Ходили в народе слухи, что он человек добрый и справедливый. Уж он-то разберется и выручит нашего ни в чем неповинного отца! Оставалось только ждать парохода «Карл Либкнехт». Он зимовал в Салехарде и ожидался первым пассажирским в сезоне.

Сесть на пароход в Цынгалах было делом не простым. Уже за несколько дней до отъезда мы постоянно ждали далекого гудка – не приближается ли «Карл Либкнехт»? Во всех прибрежных деревнях обычно узнавали пароходы по голосу. Заслышав знакомый гудок, нужно было заранее погрузиться в лодку и ждать. По маневрам приближающегося парохода следовало угадать, пристанет ли он на правом берегу и будет запасаться дровами или причалит на левом – в Цынгалах. Чаще всего пароход шел просто по фарватеру, чуть замедлив ход. Тогда его нужно было вовремя перехватить, причалить и перегружаться на ходу. У нас операцией руководил сам Николай Степаныч и посадка прошла благополучно.

На пароходе мы оказались в совсем другом, красивом и шумном, мире. По белым палубам прогуливались нарядные красивые женщины и веселые мужчины в светлых костюмах. Гремела радиолка. Это ехали с Севера на отдых в теплые края счастливые, денежные отпускники. Даже мы с матерью не ютились на дровах, а спали на чистых простынях в третьем классе. Веселое путешествие продолжалось недолго. Где-то под Тобольском радиолка

смокла, и мы слышали голос нашего старого знакомого Вячеслав Михалыча Молотова. Началась война. Все на пароходе как-то поскучнели, нахохлились и молча слушали громкоговоритель.

Теперь пароход причаливал у каждой пристани и на белые палубы, под крики команд и гром оркестров, поднимались мобилизованные. Когда пароход отходил, вдоль берега долго, до потери сил, бежали бабы, старики и ребяташки, а потом, отдаляясь, неподвижно застывали в безнадежности. Объявлено было, что пароход пойдет по особому расписанию. Желающим ехать в сторону Омска и железнодорожной магистрали следовало высадиться и оформлять специальные пропуска согласно законам военного времени. Особое расписание на деле обернулось тем, что «Карл Либкнехт» пошел снова на север, чтобы подбирать по деревням и пристаням людей, еще не охваченных мобилизацией. Никакого спецпропуска у нас, конечно, не было. Мать сказала, что теперь мы с «Карлом Либкнехтом» попутчики и взяла билеты на обратную дорогу. В дороге мобилизованным выдавали какие-то сухие пайки, а нам этого не полагалось. Ресторанная буфетчица нас пожалела и продала нам засохший пирог с рисом. Пять дней мы ели этот довоенный пирог, пока не оказались снова в Цынгалах. На этом путешествие и закончилось.

Цынгалы заметно опустели: взяли на фронт Гри-Гри, Вадима, Николай Степаныча и многих, многих других. Пришла беда – отворяй ворота! Сибиряки привыкли к весенним половодьям, но на этот раз Иртыш залил все огороды, вода пришла даже в поле, с трудом отвоеванное цынга-линцами у тайги, и теперь все прибывала. Как жить без мужиков, с разоренными огородами, без корма для скота? Такого бедствия не могла припомнить даже Устинья Гавриловна. По ее совету решили насыпать вал вдоль берега Иртыша.

Работали стар и млад, днем и ночью – при свете костров. Таскали землю на носилках, в ведрах, корзинах, а женщины, бывало, и в подолах. Приходила Гавриловна с шестом, измеряла вал, говорила: «ишшо», и работа продолжалась. Мы не ходили, а ползали от усталости вдоль этого проклятого вала. Гавриловну поносили ведьмой и старой дурой – ну возможно ли с бабами да ребяташками устоять против такой реки! Но однажды ранним утром пришла Гавриловна с шестом и велела отправляться по домам – отсыпаться. «Выше не пойдет!» – объявила Устинья. И действительно – выше вода не поднялась, а стала понемногу отступать. Открылись затянутые илом неживые грядки, разверзлись воронки на месте хозяйственных построек. Люди принялись обустривать свою землю и добро. Готовиться к суровой военной зиме.

С началом ледостава всякая связь с миром, как всегда, надолго прервалась и возобновилась, только когда надежно окреп лед и накатали санную дорогу. С «веревочкой» пришла первая почта. В «Сталинской трибуне» были сводки Совинформбюро. Мы взяли школьную карту и принялись расставлять флажки, как в одном фильме про войну. Флажки у нас передвигались все время на восток. Пришел директор Трофим Моисеевич и карту у нас отобрал. «А как же учить географию?» – недоумевали мы. Пришло еще письмо-треугольник от Николая Степановича Симонова. Он написал из какой-то Коноши, что находится на перформировании. «Живой! Слава богу! Слава богу!» – обрадовалась наша хозяйка Татьяна Васильевна. Только потом оказалось, что Николай Степаныч уже давно убитый. И пошли с каждой «веревочкой» похоронки то в один двор, то в другой. По зимней уже дороге через нашу деревню в тайгу прошел длинный обоз. Из таежного поселка стали вывозить молодых спецпереселенцев на фронт «кровью смывать свои ошибки». Какие у них ошибки, никто не знал и спецпереселенцы тоже. «Ничего, потом разберемся», – пообещал сопровождавший обоз малиновый. Теперь похоронки пошли и к нам в Цынгалы, к свободно проживающим людям, и в поселок спецпереселенцев. Война всех сравняла!

Впрочем, не всех! Не всех она сравняла! Получилось так, что после гибели кладовщика Николая Степаныча никто кроме продавца Васи-партизана не знал, какие еще сохранились в

сельпо довоенные товары, распроданы ли они или списаны Васей под наводнение и по всяким военным причинам. Хотели было вызвать ревизоров, но передумали – приедут чужаки и растащат последнее. Пусть уж лучше свой покомандует!

Так и стал Вася-партизан единственным полновластным хозяином в Цынгалах. Чем дольше длилась зима, тем быстрее исчезали всякие необходимые товары: соль, крупы, керосин... о муке и сахаре уж и не вспоминали. Жили при лучинах и в домах, и в школе. Вместо хлеба – лепешки из рыбной костяной муки, поджаренные на рыбьем жире. Каждое утро мы с Татьяной Васильевной выходили на Иртыш долбить проруби, проверять переметы и самолосы. Рыба, во всех видах, стала единственной едой. Надеяться было не на что и ждать помощи неоткуда. Кто вспомнит о каких-то Цынгалинских Юртах, когда идет такая война! Всеми силами старались уберечь скотину, сохранить ее до весны. С ивы и кустов понежнее скоблили кору, запаривали ее в кипятке и тем скотину кормили. Некоторые, например, Ваня-старший, даже коров пытались кормить рыбой. В сильные морозы телят и поросят затаскивали в избы и жили неделями вместе – люди и скот.

От такой жизни многие срывались. В халупе Вани-старшего взорвалась печка. Соседи решили узнать, кто по ночам ворует дрова из полениц, и в одно полено подложили порох. Ваня сознался быстро и объяснил свой поступок просто: у вас вон сколько дров-то, а у меня совсем нет. Но с тех пор дров друг у друга в деревне никто не крал. Сложили Ване новую печку те же соседи – пожалели – не умеет Ваня сам печки класть. Пока печку клали, Ваня по-соседски переселился к нам. И стали мы жить, как в сказке про теремок: Татьяна Васильевна с дочерью Шуркой, мы с матерью, один теленок, три поросенка и все семейство Тани-Маремьяны.

На исходе зимы в деревне случилось несчастье – умерла жена Васи-партизана Зинаида. Зина была женщина тихая, болезненная, и Вася обратил на нее внимание, только когда она умерла. Вася очень горевал, казнил себя за такое равнодушие и решил устроить покойнице пышные похороны. Траурная процессия должна была пройти с еловыми венками в руках через всю деревню, аж до самого остяцкого кладбища. Потом предстояло подняться на Чугас-гору и там, на самой верхотуре, похоронить Зинаиду под печальную музыку. Вот как раз с печальной музыкой и возникли сложности. Духового оркестра в Цын-галах, конечно, не было, потому что не было никогда. Сперва решили хоронить Зинаиду под патефон, даже под два патефона для торжественности. Два паренька покрепче должны были возглавить процессию, неся перед собой патефоны. Однако выяснилось, что в деревне нет двух одинаковых пластинок. Могли, конечно, патефоны петь и одновременно, но только про разное. Вася от такого предложения отказался наотрез. И тогда вспомнили, что в школе есть собственный струнный оркестр.

Еще до войны Гри-Гри обучил Борьку Косоротова играть на старой пузатой мандолине, а я кое-как аккомпанировал ему на гитаре. В нашем репертуаре были только «Ох, вы, сени, мои сени» и «Располным-полна моя коробочка», но исполнять эту музыку на похоронах мы не решились. Был у нас еще военный репертуар, который мы разучили самостоятельно – «Землянка» и «Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой». В одной говорилось, что «на поленьях смола, как слеза», а в другой, про чарочку, содержался прямой намек на поминки. Мелодии в этих песнях были лирические, то есть жалостливые, и с некоторой натяжкой их можно было считать похоронными.

Мы с Борькой возглавили процессию. За нами несли Зинаиду, после шел безутешный вдовец, а следом, утопая в весенних сугробах, пробиралась траурная вереница цынгалинцев с венками. Когда мы с Борькой грянули «Землянку», бабы, по обычаю, завыли, а Вася-партизан рыдал в голос. Шли мы долго. Руки от мороза заколели, пальцы нас не слушались, и звуки мы издавали недоброкачественные. Когда мы поднялись на Чугас-гору, уже стемнело. Вася произнес хорошую речь о том, как он не уберег свою жену, и под песню «Налей, дру-

жок, по чарочке» Зинаиду похоронили. Растроганный Вася нас благодарил, сказал, что век нас не забудет за нашу музыку, и позже слово свое сдержал.

На дверях сельпо висело объявление. Написано было красиво, с завитушками. Так умела писать только Роньжа. Все объявления про кино или школьный концерт Вася-партизан теперь поручал писать только ей. И вообще, с некоторых пор в Васе проснулась тяга к прекрасному. Он всегда сидел в первом ряду и первым начинал аплодировать по любому поводу. На этот раз объявление гласило:

Сегодня в школе концерт!

1. Артистка Ляля Белая споет популярные песни.
2. Встреча с фронтовиком тов. Зиновьевым Ф. И. из района.
3. Кинофильм «Свинарка и пастух».
4. Начало в семь часов. Просьба не опаздывать.

Какие там опоздания! Люди занимали места еще засветло. Народу было полным-полно. Первой выплыла Роньжа в новом платье с хвостом. Она представила артистку Лялю Белую. Ляля была худенькая, в обычном платье без хвоста и тащила на плече огромную сверкающую гармошку – аккордеон. Затем вышел Зиновьев Ф. И. из района. Он был лысоватый, в застиранной гимнастерке. На гимнастерке нашивки за ранения и новенькая медаль «За отвагу». Пустой рукав заправлен за ремень. Потом Ляля запела. Хоть на артистку она не была похожа, но голос у нее был какой-то теплый, душевный, словно пела она не для толпы, а для каждого в отдельности – только для тебя и ни для кого другого. И пела-то она знакомые песни – ту же «Землянку» или «Огонек», но получалось что-то новое, ни на что не похожее и очень для каждого важное. Женщины, конечно, плакали. Вася-партизан плакал и одновременно аплодировал. Он вышел к артистке и преподнес ей большую копченую нельму и меховые рукавицы. Вася добавил, что такой артистке он до войны преподнес бы отрез на платье, но сейчас война и отрезов нету.

Потом была встреча с фронтовиком Зиновьевым Ф. И. Он рассказал, что на фронте его отправили в разведку. Они с напарником добрались до первых немецких окопов и стали ждать, когда какой-нибудь подходящий немец отойдет в сторонку. Так его сподручнее было украсть для допроса. Ждали долго, до самого ужина. Один немец с котелком и ложкой сел на край окопа. Тут Зиновьев с напарником его схватили и утащили. Немец отбивался и никак не хотел отдавать котелок – наверное, с перепугу.

– Есть вопросы к товарищу Зиновьеву? – спросила Роньжа.

Тогда поднялся Ваня-старший и спросил, что было у немца в котелке на ужин?

– Это не суть важно! – прервала его Роньжа. – Пусть лучше товарищ расскажет, за что его наградили медалью «За отвагу»?

– Да вот, за это самое и наградили, – ответил фронтовик, – но, если по совести, наградить бы следовало напарника, только его убило.

– А рука где? – спросили из толпы.

– В пи... де! – зло выкрикнул Зиновьев Ф. И.

Роньжа поспешно зааплодировала. Ее поддержал Вася-партизан, а за ним и весь народ. Ведь все понимали, что человек с фронта и очень нервный.

После фильма я перетащил коробки девчонке-киномеханику Катьке и стал откреплять динамику. В это время подошел Вася-партизан и поманил меня пальцем. Мы пошли к нему в избу. Там сидела за столом Ляля Белая и, как обычный человек, хлебала уху. Здесь же была и Роньжа.

– Вот, этот и есть Виталий, – сказал Вася, – советую его с его другом Борькой Косотовым.

– Серьезные, дисциплинированные ученики, – добавила от себя Роньжа, – активисты драмкружка, увлекаются литературой.

– А что нужно делать? – спросил я.

– Грести! Веслами! – пояснил Вася. – А за это тебе полкило масла и кило сахара! Приварок твой!

– Позвольте, – остановила его Роньжа, – я сейчас все объясню понятнее, Виталий! Вся страна напрягает силы, чтобы разбить подлого врага! В нашем районе решено создать специальную агитбригаду, чтобы агитировать население и тем помогать фронту! В бригаду войдут артистка Ляля Белая, киномеханик Катя и Федор Иванович Зиновьев из района, но, обрати внимание: Катя и Ляля – женщины, а Федор Иванович без руки.

– Грести надо! – повторил Вася-партизан.

– И не только грести! – подхватила Роньжа. – Вам с Борисом будут поручены драматические роли!

– Виталий успешно справился с ролью польского пана, – обратилась Роньжа к артистке, – а Борис убедительно сыграл красноармейца. А злободневный скетч мы освежим!

– Ну, вот и договорились, – завершил беседу Вася-партизан.

На лодке-ангарке с Катькиной кинопередвижкой и Лялиным аккордеоном мы должны были плыть вниз по Иртышу от селения к селению и крутить там «Свинарку». Ф. И. Зиновьев будет рассказывать про свои подвиги, а Ляля Белая петь песни. Кстати, выяснилось, что Ляля Белая никакая не Белая, а просто Ольга Сергеевна Корешкова. А псевдоним Белая она взяла потому, что в Госконцерте уже есть известная артистка Ляля Черная.

– А зачем тогда псевдоним? – спросил я.

– А по глупости, – сказала Ольга и рассмеялась.

Агитбригада «Бей врага»

Перед самым отплытием прибежала запыхавшаяся Роньжа, принесла «освеженный» скетч и рулон собственной рукою нарисованных афиш. Согласно тексту скетча, я теперь должен был вместо злого польского пана изображать мальчишку-партизана, который ловко обманывает тупого немецкого офицера и, в конце концов, берет его в плен. Борька будет играть уже не красноармейца, а немца. На Роньжиной афише старательно был изображен большой красивый партизан и маленький скрюченный фашистик темно-зеленого цвета.

Мы с Борькой бодро взяли за весла. Берег отдалялся очень медленно. Над нами клубилась туча комаров. Они жрали нас беспрепятственно, потому что руки были заняты веслами. Катька обмахивала нас косынкой, но скоро устала. Дальний поворот реки все не приближался. Мы с Борькой разозлились и поднажали. Поднажали и вспотели. Тогда комары заинтересовались нами еще больше. На ладонях вспучились волдыри, руки дрожали, а поворот был все там же. «Вот что, ребятки, – сказал Федор Иваныч, – так не пойдет дело! День еще начинается, а вы уже скисли. Нужен порядок!» И Федор навел порядок: работать веслами – один час. Потом плыть по течению, самотеком и отдыхать – полчаса. Если нужно по нужде, приставать к берегу без всяких стеснений и ломаний – дело обыкновенное. Если что добудем из съестного или добрые люди дадут – все в общий котел. «Кто – «за»?» Федор поднял единственную руку. Все проголосовали «за».

– Теперь, чтоб не забыть, сразу сообщаю, что я назначен при вас для охраны. Места здесь такие, что и дезертиры попадают, и всякое другое, а я все-таки милиционер, хоть и однорукий. Служил в органах до ранения, – Федор достал из-за пазухи кисет, а потом револьвер, завернутый в большой носовой платок. – Вы не пугайтесь. Штатное оружие. Положено по службе.

Дальше мы долго плыли молча. Уже стало темнеть, и на далеком берегу замерцал огонек.

– Деревня Слушка! Население – три двора! – объявил Федор.

На берегу нас поджидало все население: девять взрослых и три бесштаных пацана. Горел костер, и в котле что-то варилось.

– Ну, как там война? – крикнул мужик еще издали. – Не победили ишшо?

– Нет пока что, – откликнулся Федор.

– А мы вас завидели и уху сварганили, – сказала молодуха. – Милости просим!

Мужики засучили штаны и взялись вытаскивать нашу ангарку на берег.

– А это у вас что? – спросил первый мужик.

– Кино вам будем показывать, – ответила Катерина.

– Кино? – поразился мужик. – Мы такого здесь и не видывали!

На самой большой в Слушке простыне мы готовились показать «Свинарку и пастуха». Народ принарядился, на пацанов надели штаны. Все с уважением разглядывали Катькину аппаратуру.

– Да вы не туда смотрите! На простыню смотрите, – посоветовала Катька.

По простыне поплыли высокие столичные дома, нарядные люди и сверкающие автомобили. Зрители глядели, не шелохнувшись, и даже не сразу поняли, что следить нужно за свинаркой и пастухом. А уж когда поняли, заволновались, стали за них переживать. Фильм был, как всегда, немой, свинарка и пастух пели, беззвучно разевая рты, но все сразу догадались, что они скоро поженятся.

После кино был общий ужин. Главный мужик рассказал нам, отчего деревня так называется.

– У моего деда была привычка, к каждому слову он прибавлял «слушай-ка». «Слуш-ка, парень, подмогни! Слуш-ка, жана, тащи обед!» Дед мой был известный в округе человек. Вот он уже помер, а место наше и по сей день зовется «Слушка», – рассказывал он. – Напечатали тут недавно карту, все на ней есть – и Салехард, и Ханты-Мансийск! А пониже – точка и под ней написано: «дер. Слушка!» Вот как мы прославились, – похвастался мужик.

На столе появилась четвертная бутылка с чем-то мутным. Все выпили за Слушку. И мы с Борькой тоже выпили для компании. Мне вдруг стало весело, хорошо, все мне стали нравиться – и лысый однорукый Федор, и разговорчивый мужик, и пацанята. Особенно мне понравились молодуха и Ольга, которые пели вдвоем старинные сибирские песни, а Федор старательно гудел – подпевал им басом. Пели они про то, про что всегда поют подвыпившие сибиряки – про бродягу, который Байкал переехал, и еще про то, что «жена найдет себе другого, а мать сыночка – никогда». Нас поместили в избу, самую новую из трех, и мы спали на полу вповалку. Только Ольгу, из уважения, положили на печке.

Ранним утром мы взялись за весла. День был солнечный, дул легкий ветерок, и комары не приставали. Хозяева смазали наши волдыри салом и натянули брезентовые рыбацкие рукавицы. Приветливая деревня Слушка постепенно удалялась и растаяла в тумане.

Когда солнце поднялось выше, Ольга, по городской привычке, устроилась загорать. Катька, девчонка деревенская, загорать стеснялась и только приоткрыла чуть выше колен свои белые ноги.

– Вы бы, девки, не заголялись особенно-то, – сказал Федор, – плывем к спецпоселку Урманному.

– Ну и что? – спросила Катька.

– А здесь молокане живут. У них строго. Нагляделся я на них еще на милицейской службе.

И Федор рассказал нам про молокан, что народ чистый, трудолюбивый, не курит, не пьет. Собираются – молятся, поют, а про что поют и во что верят, никто толком не знает. Но люди работающие и непьющие!

– Я бы пол-России к молоканам отослал, на перевоспитание! – заключил Федор.

Урман – это, по-сибирски, непроходимая чащоба. Так, наверное, было, пока не выслали сюда молокан. Теперь здесь вдоль берега выстроенные ровной цепочкой сложенные из толстых бревен ладные дома, а вокруг каждого дома – высокий заплот⁵, тоже из бревен, но заостренных сверху. В поселке не видно было ни души. Даже не лаяли собаки. Мы подтянули ангарку и пошли к ближайшему дому. Федор постучал в калитку. Тишина.

– Хозяева! – позвал Федор.

И снова ни звука.

– Есть кто живой? – спросила Катька.

И снова никто не откликнулся, только истошно трещали сороки. Они так всегда предупреждают о появлении чужаков.

– Откройте! Мы из района! – потребовал Федор.

Что-то шевельнулось, хрустнуло и в щели между бревнами блеснул чей-то глаз.

– Мы от властей! – настаивал Федор. Калитка отворилась, и перед нами предстал огромный седобородый старик в холщовой самотканой рубаше и штанах. В руке он держал топор. Старик долго разглядывал нас, и взгляд его остановился на Федоре.

– Это ты власть? – спросил старик.

– Ну, я, – подтвердил Федор.

– А рука твоя где? – усмехнулся старик.

⁵ Заплот – глухой забор. – *Ред.*

Федор не стал отвечать про руку, как тогда в Цынга-лах, и промолчал.

– Всякая власть от дьявола! – поучительно сказал старик. – Дьявол дал – дьявол взял!

– Нельзя же так, товарищ! – возмутилась Ольга. – Мы – агитбригада. Кино вам хотели показать, а потом я вам спою.

Старик на Ольгу даже не взглянул.

– Ты же знаешь, начальник, что кина вашего мы не глядим. Если приказано казать, то вон сарай. Туда идите!

Мы пришли в сарай, предназначенный для молотьбы. Пустой сарай, твердый, глинобитный пол, в углу составлены лавки.

– Вот здесь они и собираются, и поют про свое, – объяснил Федор.

Мы повесили на стену экран, расставили лавки и стали ждать. Никто не появлялся, только по-прежнему трещали сороки. Борька потел в самодельной немецкой форме, и у него расплылись рисованные усы.

– Ой! Мы же афиши не расклеили! – спохватилась Ольга.

Тогда мы с Борькой прилепили две афиши – одну на калитку старика, а другую у колодца. И снова стали ждать. В соломе возились мыши. Хотелось есть и пить. В дверях сарая возникла девчонка-подросток, в такой же холщовой рубаше, белом платке и лапоточках. Она поставила у наших ног деревянное долбленое корытце с горячими картошками.

– Ешьте, – сказала девчонка, повернулась и ушла.

Федор задумчиво поглядел на корытце.

– А ведь в этом корыте, – сказал Федор, – они картохи мнут для поросят.

Опять возникла девчонка, но уже с крынкой кислого молока.

– И пейте, – добавила она и ушла.

Так до вечера никто и не явился. Плыть дальше, на ночь глядя, нам было не с руки. Проситься здесь на ночевку – бесполезно. Хотели было переночевать в сарае, но женщины забоялись мышей.

И мы решили, из гордости, расположиться на ночлег прямо перед домом зловредного старика. Развели костер и просидели у огня до утра. За всю ночь никто к нам не подошел и даже не выглянул.

– Куда же они всех собак-то подевали? – удивлялся Федор.

Утром, когда мы грузились обратно в лодку, Федор обратился к безлюдному поселку Урманному.

– Ну, уж нет, – сказал он, – не буду я пол-России к вам, молоканам, отправлять на перевоспитание!

Впереди по курсу нас ожидало большое село Реполово. Много домов, пристань, лесопилка и красивая церковь без креста. В ней нас и поместили. Церковь здесь превратили в клуб. На месте царских врат соорудили сцену с настоящим занавесом. Над занавесом помещался лозунг со словами: «Все для фронта!». Отовсюду со стен на нас глядели святые и мученики. Первым пришел начальник лесопилки. Он был в кителе, сапогах и фуражке-«сталинке». Начальник поздоровался с нами за руку и долго рассматривал документы. У него были глазки-бусинки, длинный нос и маленький стерляжий круглый ротик. Точь-в-точь стерлядь, только в фуражке! «Ну, что же, товарищи, – сказал начальник, – располагайтесь, а я мобилизую население».

Народу в церкви собралось полным-полно. Над нашим скетчем про глупого фашиста все очень смеялись. Федор тоже не подкачал со своим рассказом. Ольга Сергеевна пела замечательно, и ее голос под сводами церкви звучал особенно красиво. Перед фильмом, когда мы возились с аппаратурой, нас обступили местные ребята и попросились крутить динамку. «А что нам за это будет?» – спросил Борька. Ребята натащили нам орешков, ароматной серы для

жвачки, а один даже отдал мне рогатку с ценной красной резиной. Потом ребята по очереди крутили динамку, а мы, как свободные люди, сидели в зале, щелкали орешки и в который раз смотрели «Свинарку и пастуха». Все сложилось хорошо, кроме неприятностей с Федором Ивановичем и Борькой. После кино к нам за сцену пришел начальник лесопилки благодарить за «полезное мероприятие».

– Молодец, партизан! – сказал мне начальник и погладил меня по голове. – Так держать!

Потом он обратился к Федору Ивановичу с критикой:

– Про какие немецкие похлебки ты нам рассказываешь? Народ ждет подвигов, а ты чего плетешь?

– А ты на фронте был? – спросил Федор Иванович.

– Я пока на брони, но это не имеет значения! – ответила стерлядь.

– Тогда пошел ты на... – и Федор применил к начальнику нецензурное выражение.

Поздно вечером Федор пришел мрачный и подвыпивший, чего с ним никогда не бывало. А в тот же вечер, когда Борька выскочил из церкви по нужде, его подкараулили местные ребята и с криками «бей фрица!» здорово отмолотили. Борька кричал, что у него такая роль, но его никто не слушал. Наутро у Борьки образовался синяк и заплыл глаз. Как ему дальше изображать немецкого офицера, было непонятно. Пришлось добавить в скетч слова с намеком на то, что офицер этот и раньше участвовал в рукопашных схватках с партизанами.

На следующий день нас прицепил катер и потащил ангарку в районный центр Самарово. Мы даже подстричься не успели в местной парикмахерской, нас сразу доставили в клуб рыбокомбината. Здесь нам поменяли «Свинарку» на другую картину под названием «Боевой киносборник номер шесть», сделали профилактику кинопроектору и выдали, согласно договоренности, по полкило масла, по кило сахару и дали еще буханку хлеба. С новой картиной и кинопередвижкой мы потряслись по бревенчатой мостовой обратно к пристани. Здесь нас ожидал сюрприз. У пристани нашей ангарки уже не было, а вместо нее нас поджидал большой многовесельный неводник. Над неводником была построена будка из крашеной фанеры. На одном боку у будки написано было огромными буквами «Бей врага!», а на другом – «Агитбригада». Сооружение напоминало мне китайскую джонку, каких я немало повидал на Амуре. Так и чудилось, что вот-вот выйдет из будки китаец в конической шляпе и с бамбуковым шестом в руках.

К пристани подвалил чистенький катерок с надраенными поручнями, и к нам вышел сам начальник рыбокомбината. Он тоже был в кителе, сапогах и «сталинке». И глаза у него были такие же стерляжьи. Начальник по-военному козырнул и представился. Он сказал, что у нашей агитбригады сменился шеф. Прежде над нами шефствовала милиция, а теперь вот рыбокомбинат, и мы будем культурно обслуживать прежде всего рыбаков, а потом уже другой остальной народ. Поскольку на рыбацких станах бытовые условия неважные, для нас построили каюту. Федор заметил, что каюта, пожалуй, великовата. Начальник возразил, что сооружение одобрено самим предриком, то есть, председателем райисполкома, – Валерияном Прохоровичем Чижовым, после чего озабоченно удалился по делам. И тут взбунтовался Федор Иванович. Он заявил, что он не клоун какой-нибудь, чтобы людей развлекать и пустым рукавом хвалиться.

– Но вы же герой, Федор Иванович, – убеждали мы, – у вас медаль «За отвагу»!

– Таких героев-медалистов теперь в тылу пруд пруди! – отбивался Федор. Наконец, мы ему сказали, что нехорошо нас оставлять беззащитными и безоружными, и Федор сдался.

Катерок вытащил нас в безбрежное море, которое образовалось здесь от слияния Иртыша с Обью. Дул сильный ветер, и катерок то взлетал на волнах, то скатывался в ложбины. Он еле тянул наш неводник. Будка срабатывала, как парус, то и дело разворачивая джонку боком к волне. Нас жестоко болтало, по каюте перекатывались жестяные коробки с

пленкой и наше мелкое барахло. Конца этому путешествию, казалось, не будет. Наконец, за длинной песчаной косой показалась избушка и снасти, развешенные для просушки. Катерок совершил маневр и подтянул нас поближе. Что дальше делать, мы не знали. Вытащить громоздкую джонку на берег нашими силами было невозможно. Мужская половина коллектива сняла штаны и попрыгала в холодную воду. После некоторого колебания, к нам присоединилась и команда катера. Мы кое-как пришвартовались и закрепились. Команда забралась в катерок, он зарычал, развернулся и ушел в бесконечность. На берегу было пустынно и безлюдно. Поскольку мы все равно были голые, то принялись вброд перетаскивать наше имущество на берег.

Избушка была жилая – на пороге сидел кот и с отвращением глядел на связки вяленых стерлядок. Рыба была повсюду: в бочках, чанах, уже распластанная и подсоленная. А также сушеная, в больших рогожных мешках. Вскоре из-за отмели показался такой же неводник, как наш, но только без будки. Он был завален сетями, поплавокми и прочей рыболовной снастью. На веслах дружно работали рыбаки, а правильнее сказать, рыбачки. Женщины в неуклюжих робах и бахилах с криками и визгом попрыгали в воду, вытянули неводник, а потом вытащили нашу джонку вместе с Катькой и Ольгой. Не обращая на нас никакого внимания, они скинули рабочую одежду и в таком виде побежали к сараю с жестяной трубой – видимо, в коптильню. У костра, огороженного жердями, остались сушиться заскорузлые, блестящие от рыбьей чешуи ватники и презентовые штаны.

Потом из коптильни, уже приодетые и сухие, появились рыбачки. Впереди шла высокая, фигуристая бригадирша. Бригадирша извинилась, за то что они выскочили в таком виде – они просто привыкли, потому что живых мужиков здесь не видели уже два месяца. Губы и брови у бригадирши были чем-то подкрашены. Вперед выступил Федор Иванович и с шуточками и прибаутками объяснил, кто мы такие. Рыбачки со смехом отвечали. А девчонки – наши сверстницы – для практики строили нам с Борькой глазки.

Уже стемнело, и кино решили показывать прямо на берегу, прикрепив экран к стене избушки. «Боевой киносборник» состоял из нескольких смешных коротких фильмов, вроде нашего злободневного скетча, но, конечно, получше, потому что в фильме снимался знаменитый артист Тенин. Привлеченная белым мерцающим экраном, налетела мошкара. Она облепила нас так плотно, что невозможно было открыть глаза и даже дышать – в рот и в нос втягивалась мошкара. Рыбачки досмотрели фильм до конца, похвалили и сказали, что лучше бы, конечно, если б фильм был про любовь. Война всем надоела!

Стали устраиваться на ночлег. В нашей будке, которую воздвиг «сам предрик» Валерий Прохорович Чижов, спать было нельзя из-за гнуса. Решили в тесноте, да не в обиду устраиваться в самой избушке. У рыбачек над каждой постелью устроен был марлевый полог от мошкар. Стали распределяться под пологами. Ольга и Катька – под одним, мы с Борькой – под другим. А бригадирша пригласила Федор Иваныча к себе, посоветоваться о завтрашнем дне. Гудела мошкара, шептались и хихикали рыбачки. Потом Ольга предложила им спеть. Я не знал, что Ольга так хорошо поет и романсы тоже. Под слова «на заре она сладко так спит» из-под пологов раздалось сопение и похрапывание рыбачек. Они смертельно устали, им было не до романсов.

Только мне не спалось. Я размышлял, о том, какой же идиот додумался построить агитбудку на неводнике? И вдруг меня осенило: Валериан Чижов – это же не кто иной, как Оверька Чижик! До нас доходили слухи о том, что Оверька, как ценный «кадр», забронирован и теперь где-то начальствует. Все сходилось! Будку мог придумать только «кадр» с мозгами Оверьки. Ночью я проснулся от шепота и шевелений. Из-под полога, где спал Федор, крадучись, выбралась женщина, но это была уже не бригадирша, а другая – худенькая и рыженькая, которая требовала картину про любовь.

На заре рыбачки снова натягивали свои ватники и штаны, отправлялись на тону, тянуть невод, добывать рыбу для фронта и победы.

Прежде чем с нами распрощаться, рыбачки столкнули наш корабль на чистую воду и рассказали, как нам добраться до следующего рыбацкого стана. Это недалеко – по воде за полдня догребете, успокоили они нас. Мы надеялись, что подойдет рыбкомбинатовский катер и нас отбуксирует, но катер, конечно, не пришел. Мы отправились в путь самостоятельно. На тяжелом неводнике мы с Борькой с трудом выгребли на стремнину, надеясь, что быстрое течение нам поможет. Так и вышло – мы спустились по течению, подгоняемые ветерком, довольно быстро. Как заметил Борька, «даже слишком быстро». Настроение было хорошее. Ольга опять приготовилась загорать, но все вдруг мгновенно изменилось. Вода потемнела, покрылась рябью и белыми барашками. Дунул еще совсем недавно приятный для нас ветерок и развернул неводник поперек волн. Все происходило быстро и в то же время замедленно, как в кино. Под порывом ветра неводник с дурацкой будкой накренился и от будки себя освободил – будка со скрежетом и хлюпаньем отделилась и закачалась в волнах, быстро от нас удаляясь и показывая, время от времени, мокрый бок с надписью «Бей врага!».

От неожиданности мы с Борькой бросили весла, и теперь они тоже быстро и безнадёжно от нас отдалялись. Лодка беспорядочно вращалась и неслась по волнам. Федор пытался править, поворачивая рулевое весло одной рукой. Но ничего из этого не получалось. Оставалось только тупо глядеть друг на друга и на далекий берег, который, кренясь, поворачивался к нам то одной стороной, то другой. Потом мы почувствовали сильный толчок и едва успели ухватиться за борт. Лодку выкинуло на отмель. «Все хватай и за мной!» – крикнул Федор. Мы ухватились, кто за что мог, и забегали от лодки к отмели и снова к лодке. Неводник трещал и методично бился днищем о гальку. Когда мы сложили наше добро в кучку, волна приподняла неводник и положила его к нашим ногам, рядом с имуществом. Стихия действовала последовательно и с чувством юмора.

Опомнившись от потрясения, мы стали изучать обстановку. Кинопроектор и другое оборудование были упакованы в специальные крепкие ящики и они не пострадали. А вот с «Боевым киноборником» дело обстояло не так хорошо – в железные коробки, яуфы, попала вода. Размеры бедствия можно было выяснить, только открывая и осторожно, чтобы не повредить эмульсию, разматывая ленту, ролик за роликом. Адская работа! А в наших условиях – почти невозможная! Мокрая Екатерина сидела на своих ящиках и рыдала.

– Костер надо бы развести, – сказал Федор.

– Да ведь пленка-то горючая-ая, – выла Катька.

– Ты думаешь, я твою пленку на костре буду сушить? – сказал Федор. – Сперва сами обогреемся.

Федор пошел по отмели, а мы с Борькой за ним. Отмель тянулась далеко, это была цепочка островков, разделенных промоинами.

– Молись, ребята, сказал Федор, – чтоб не задуло снизу, против течения. Тогда вода поднимется и нам – каюк!

Но пока что мы стали подбирать плавник и ветки посуше, а Федор что-то выискивал в гальке. Он нашел подходящий кремень и сунул его в карман. Екатерина безутешно рыдала, неподвижно сидела, нахохлившись, Ольга с аккордеоном на коленях.

– А ну, девки! Айда собирать былинки-хворостинки! – скомандовал Федор.

Потом он достал кисет, а из него тонкую курительную бумагу. Федор вынул патрон из револьвера, сорвал пулю и высыпал порох на бумажку. Ударил кресалом об кремень – порох вспыхнул. На нашей необитаемой земле появился костерок. Потом общими усилиями мы развели и серьезный костер. Повеселела даже Катька. «Робинзоны, – смеялась Ольга, – самые настоящие Робинзоны!» Про нижний ветер мы им не говорили, чтобы не пугать.

Честно заработанный нами сахар растаял в обской воде. Туда же канул и хлеб с маслом. Сохранилась связка вяленых отборных стерлядок, преподнесенных на прощанье рыбачками.

«Пароход! Пароход!» – вдруг запрыгал и закричал Борька. Сравнительно недалеко от нас действительно шел большой, красивый пароход. Мы кричали, размахивали руками и всячески пытались обратить на себя внимание. С палубы нам тоже кто-то приветственно махнул платком. Потом корабль показал нам корму и пошел своим путем. Катька заявила, что если даже какой-нибудь пароход здесь вдруг и причалит, она, Екатерина, все равно, с места не сдвинется, пока не выяснит, что с «Боевым киноборником». Позже можно было наблюдать следующее: на пустынной отмели посреди реки стоял на треноге кинопроектор, а зареванная Катька осторожно поворачивала ручку, словно показывая неизвестно кому какое-то странное, замедленное кино. До самой темноты, ролик за роликом, мы пропускали через проектор «Боевой киноборник», проверяя и просушивая подозрительные места с помощью лампы проектора. Мы поели вяленой стерляди, запили ее обской водой и поддерживали наш костер до утра. Утром нас снял почтовый катер. О нас вспомнили, только когда выловили из Оби агит-будку с призывом «Бей врага!». С тех пор я возненавидел стерлядь во всех видах, но, когда говорю об этом, все думают, что я шучу.

Молодым везде у нас дорога

После сидения на отмели мы уже не решались путешествовать самостоятельно. Да и не на чем было – неводник пришел в негодность. Нас перевозили на катерах, буксирах и даже лесосплавщики на плотках. Мы побывали во многих богом забытых деревеньках и поселках. Ольга Сергеевна пела свои песни, фронтовик Федор Иванович складно и привычно рассказывал про войну, но количество плененных немцев у него понемногу возрастало, а о напарнике упоминать он иногда забывал. Так мы жили почти два месяца, пока не начались осенние непогоды.

Когда я вернулся в Цынгалы, мне все показалось здесь маленьким и скучноватым. Сказывалась привычка к постоянному движению и переменам. Мать долго меня рассматривала и объявила, что я повзрослел. Мы поглядели друг на друга, и мать ответила на мой главный, невысказанный вопрос: «Нет». Никаких извещений и писем от отца не было. А нам предстоял новый переезд. Мать взяли на работу в район, и теперь я буду учиться в средней школе в Самарово.

По местным меркам, это было очень большое село. На высокой горе, отделяющей старинное Самарово от новостройки – Ханты-Мансийска, стояли сибирские дома-крепости, а в болотистой низине кучковались, разбросанные без всякого порядка, глинобитные хижины сибирских татар. Низина утопала в черном, бездонном торфяном болоте, и потому дороги-улицы в селе вымощены были толстыми бревнами. Под тяжестью конных подвод и под ногами прохожих, бревна погружались в болотную жижу и с вязким чмоканьем всплывали. В Самарово была парикмахерская, в которую мы в прошлый раз не попали, столовая и рай-маг. В столовой кормили по карточкам и только супом из рыбьих голов. Полки в рай-маге были идеально пустыми. Но я еще помнил, как в начале войны на этих полках стояли пирамидки крабовых консервов и бутылки шампанского. Стояли они довольно долго, потому что сибиряки с подозрением относились к незнакомой еде и к шипящей жидкости в толстых бутылках. Все это исчезло, когда пришел первый пароход с эвакуированными.

Вторжение чужаков преобразило жизнь в Самарово. Подскочили цены, изменились нравы на патриархальном самаровском базаре. Местных обижало, настораживало высокомерие и напористость приезжих. Встречали эвакуированных, как своих, родных, пострадавших, а кто тут истинно пострадавший, было пока непонятно. Здесь оказались эвакуированные москвичи и ленинградцы, беженцы и ссыльные из западной Украины и Прибалтики, сектанты и староверы, поволжские немцы и калмыки, а также спецпереселенцы и неблагонадежный люд всех прочих национальностей, веры и происхождения. Все это пыталось внедриться в незнакомую сибирскую жизнь, добыть себе пропитание и крышу над головой. Каждый в глубине души считал, что он здесь находится временно и потому распродал последнее, сбивая цены и не заботясь о будущем. А будущим для них оказалась долгая война и крутые сибирские зимы.

Надеждой и опорой самаровцев, коренных и временных, был рыбокомбинат. Комбинат построил здесь жилье – длинные бараки для сезонных рабочих, провел электричество для своих специалистов. Даже общественная баня принадлежала рыбокомбинату. И клуб, откуда мы брали фильмы, тоже был рыбокомбинатовский. Когда началась война и комбинат погнал свои консервы на фронт, отпала надобность в красивых этикетках – армия поела все без разбора. Запасы этикеточной бумаги переданы были в распоряжение местных властей. Теперь хлебные карточки печатали на обороте узеньких этикеток от «Ерша в масле», более обширные казенные документы – на широких этикетках «Ухи из осетра». Лично у меня аттестат зрелости и школьная характеристика исполнены были от руки на этикетке

«Муксун в томате». Эти документы сыграли в моей жизни, быть может, решающую роль. Но об этом речь впереди.

Мы поселились в избе наших дальних родственников, в закутке, за печкой. Жилье в Самарове, заповенном приезжими, стоило очень дорого. Только через несколько месяцев нам дали «школьную фатеру» – покосившийся, вросший в землю домишко в два окна. Мать очень гордилась этим, почти что собственным, жильем, вымыла и выскребла здесь все, что можно. Мы водрузили полку для книг и вскоре, на школьной подводе, доставлен был из Цынгалов «Зингер-полукабинет». Начиналась новая жизнь. К нашему домику приволокли и оставили под окнами толстенное, в два обхвата, бревно – это был запас дров на зиму. Мне предстояло отпиливать от бревна чурбаны и колоть их по мере надобности. Общественный колодец был далеко, поэтому завхоз торжественно вручил мне коромысло и два казенных ведра с надписью «щи». Поскольку наш дом к рыбкомбинату отношения не имел, электричества у нас не было, но зато, к моей великой радости, была радиорозетка и наушники. Теперь я мог целыми днями слушать передачи из Москвы и Новосибирска, сводки информбюро, радиоспектакли и все, все, все!

Произошло еще одно важное событие – к нам пожаловал сам предрик, Валериан Прохорович Чижов. Это, конечно же, был Оверька Чижик, но совершенно преображенный. Он, разумеется, был в кителе, сапогах и фуражке-«сталинке». Он даже отпустил усы, но на Сталина все же не походил, потому что был от природы курносый и белобрысым. Оверька общался с нами приветливо, но как-то сдержанно. Он не смеялся беспричинно и не размахивал руками, как бывало прежде. Оверька рассказал про наших видоновских родственников. Старик-лошадник Евграф помер, жена Оверьки, трусихинская Августа, теперь стала завмагом в Ханты-Мансийске и «материальное положение нашей семьи, в данный момент, удовлетворительное», – зачем-то добавил он. Австрияк Франц с первых дней войны услан был в спецлагерь, на лесозаготовки, «где ему и следовало быть», – присовокупил Оверька. Уходя, Валериан Прохорович пообещал как-нибудь к нам заглянуть и, между прочим, заметил, что с раскулаченными родственниками нам следует встречаться пореже, а сам он очень занят, потому что идет война и у него много ответственной работы.

Первого сентября я пришел в школу и познакомился с одноклассниками. Они были, в основном, переростки. Военные передраги и эвакуации прервали учебный процесс. Девочки уже были почти тетями, а мальчики говорили баском. Я выглядел среди них мальчишкой. Первым ко мне подошел тощий носатый парень.

– Ты москвич? – спросил он.

Я сказал, что нет.

– Уже хорошо, – одобрил парень.

– Почему? – поинтересовался я.

– Не люблю москвичей! Ты что, не знаешь, как они драпали шестнадцатого октября?

– Куда? – спросил я.

– Из Москвы, в сорок первом! Ты и вправду не знаешь? Ты откуда такой прибыл?

Я сказал, что из деревни Цынгалы.

– Ссылный?

– Нет, мы сами сюда приехали, а ты кто такой? – спросил я.

– Леонард Тринель! – представился парень, – немец – перец – колбаса – кислая капуста!

Заходи как-нибудь, если не боишься.

– Боюсь? – удивился я.

– Так ведь я немец!

Лео жил здесь же, в школе. Для них с матерью и сестрой в конце школьного коридора отгородили комнатку. Мать Лео преподавала немецкий язык. Пока мы шли по этому коридору, Лео рассказывал про наш класс. В нем учились поляки, бессарабские евреи, ссылные

прибалты, нелюбимые Лео москвичи и детдомовские ленинградцы. А недавно на нескольких баржах в Самарово привезли чуть ли не всю калмыцкую республику во главе с верховным советом.

– Они Гитлеру белого жеребца подарили, – сообщил Лео.

Я уже слышал историю про белого жеребца. Ею объясняли прибытие в наши края сначала карачаевцев и чеченцев, потом крымских татар, а затем греков и караимов. Наверное, у Гитлера в тесном «волчьем логове» уже возникли проблемы с содержанием такого большого табуна!

– Зато здесь педагоги первоклассные, университетские, – сообщил Лео, – из Ленинграда, Киева, Одессы, даже из Дерпта! Слышал про такой древний университет?

Я был подавлен осведомленностью Лео, а также необходимостью учиться у профессоров. Я представлял их не то чтобы облаченными в парики и мантии, но какими-то особенными. И подозревал, что и требования у них будут ко мне особенные, непосильные.

В комнатке, где жил Лео, на полу была разостлана карта Африки. На карте, группами и в россыпь, стояли тщательно выточенные из белого металла макетики танков.

– Анализирую положение на африканском театре военных действий, – пояснил Лео, – вот здесь Бизерта и англичане, а здесь танковый корпус Гудериана. У Гудериана сейчас преимущество.

– Он же фашист! – закричал я.

– Он не фашист, а талантливый генерал, – спокойно ответил Лео, – образование он получил в Советском Союзе. Генерал Роммель тоже...

Лео вдруг замолчал. В комнату вошла его мать – высокая и какая-то усохшая женщина. Не обращая на меня внимания, она стала что-то раздраженно говорить сыну по-немецки. Он ей дерзко улыбался. Тогда мать отбросила ногой карту и по комнате рассыпались макетики танков. Я потихоньку вышел в коридор. Там как раз началась перемена. Мальчишки и девочки громко кричали, смеялись и дрались, ударяясь о тонкую фанерную стенку, за которой жило семейство Лео.

Университетские светила преподавали нам без париков и мантий. Например, ленинградский доцент Рекин облачен был в залатанные бриджи с солдатскими обмотками, но под засаленным пиджаком носил галстук, как знак его ученого достоинства. Две сестры-одеситки, старые девы – Мария Карловна и Екатерина Карловна, одеты были в чинные учительские платья с кружевными воротничками, но наряд завершался солдатскими кальсонами, заправленными в галоши. Кальсоны стали в войну универсальным женским бельем, а теплыми, байковыми премировали учительниц на Восьмое марта. Война застала всех этих людей врасплох, оставив без одежды и крова. И никогда, наверное, жизнь не свела бы именно этих людей и в этом месте. Но война их столкнула и повязала. И часто они не знали, как относиться друг к другу. Кто друг? Кто враг? А кто – просто так!

Лео заходил к нам довольно часто – поиграть в шахматы или поболтать. К нему в школе никто не подходил и не заговаривал. Он отвечал высокомерной улыбочкой, но, по всему, чувствовал себя неуютно. С началом войны поволжских немцев разделили: мужчин – в трудовую, то есть, в лагерь, а женщин и детей на поселение. Матери Лео повезло, она была учительницей немецкого, а в то время такие учителя были нужны.

– Ничего, жить можно, – рассуждал Лео, – но вот Лорка меня беспокоит. Лорхен у нас невеста, ей за двадцать. А женихи где? Местные от нее шарахаются, хоть и сами тоже ссыльные. Лорхен бесится и плачет по ночам. Я ей советую: ползи по-пластунски через фронт – там женихов много!

Неделю спустя, когда занятия в школе уже шли полным ходом, в классе появился Лео с голубым пороховым ожогом на щеке. Точно такой же ожог, но на другой щеке, был у ленинградца Веньки Палея. На вопросы они отвечали, что обожглись у печки. Никто, конечно, не

верил. Правду знал только я. Однажды на большой перемене Венька обозвал Лео фашистом. Лео предложил ему драться на дуэли. Венька рассмеялся и сказал, что мы не мушкетеры. Тогда Лео сказал, что да, конечно – евреи мушкетерами не бывают. «Я тебе покажу, какие бывают евреи, – обозлился Венька, – выбирай оружие!» От секундентов для конспирации они отказались и позвали меня в посредники, поскольку я не еврей, не москвич и не похож на немца. Стали вместе обсуждать детали. Холодного оружия у нас не было. Лео предложил изготовить пистолеты.

Делали пистолеты все вместе – два противника и посредник. Конструкция была общеизвестная: к медной трубке с расплюснутым концом прикрепляли деревянную рукоятку, насыпали порох и заряд с одного конца, а с другого, расплюснутого, сверлили дырку. Вплотную к дырке крепили спичечную головку – получался запал. Для выстрела достаточно было чиркнуть коробкой о спичку. Место дуэли избрали, как и полагается, укромное – за школьным сортиром. По моему счету противники сошлись. Это было похоже на игру, но лица у них были такие, что, если б я их остановил, они стреляли бы в меня. Тогда я скомандовал: «Пли!» Дыму было много. Оба пистолета дружно взорвались, и пламя ударило в сторону стрелков. Дуэлянтам повезло – глаза не пострадали, опалило только щеки, а у Веньки обожгло руку. «Теперь помириться», – предложил я. Лео и Венька неохотно пожали друг другу руки. Это была не игра.

Постепенно ребята в классе стали привыкать друг к другу. Столичные задавали поняли, что и местные чалдоны тоже кое-что знают и понимают, а умеют уж точно больше. И мы узнавали друг про друга всякие мелочи, всякие человеческие подробности. Поляк, калмык, хохол, еврей превратились просто в Стаса, Ваньку, Гната, Веньку. И только Лео всегда оказывался в стороне. Особенно, когда радио стало приносить нам вести о наших наступлениях и победах. Теперь уже никто не отнимал у нас карты. Огромная карта, утыканная флажками, красовалась в нашем классе, и утром, после очередного радостного сообщения, мы переставляли флажки и бурно обсуждали подробности. Хохлы измеряли, сколько еще километров нужно пройти войскам до Киева и Одессы, а поляки – до Варшавы. Но как обсуждать это с Лео? Утром Лео приходил в класс последним и перед самым уроком занимал последнюю парту. Ко мне он все-таки заходил – поиграть в шахматы, а мать потихоньку его подкармливала. На сытый желудок он любил порассуждать. Узнав об офицерском заговоре против Гитлера, Лео заявил, что он жалеет военных, что войну они проиграли, потому что послушались «этого идиота».

– А если б не послушались, что было бы? – спросил я.

– И Гитлер идиот, – после паузы ответил Лео, – и все мы немцы – самонадеянные кретины.

Ясно было, что Лео совсем запутался. Из затруднительного положения его выручила моя мать, заглянувшая к нам в комнату.

– Ты заходи завтра, Лео, – сказала она, – я тебя пельменями с медвежатиной угощу.

Мать теперь работала школьным инспектором и неделями пропадала в командировках. Для зимних поездок ей даже полагалась специальная одежда: малицы, кухлянки⁶, топоры – огромные меховые сапоги. Мать из-за маленького роста передвигаться в них не могла, и возчик переносил ее на руках в сани. Так и возили эту меховую куклу-инспектора из одного школьного «куста» в другой. Больше всего мать боялась при быстрой езде вывалиться ночью в сугроб. Одна, в таком одеянии, она была совершенно беспомощна.

Возвращаясь из таежных поселков, мать иногда привозила оленину, дикий мед, а однажды явилась с огромным куском мороженой медвежатины. Когда Лео, угостившись материнскими пельменями, узнал, что это медвежатиная, он пришел в восторг и вообразил

⁶ Кухлянка – верхняя одежда из оленьих шкур. – *Ред.*

себя древним тевтоном в суровых альпийских лесах. По этому случаю он долго, с увлечением рассказывал нам, как жили древние германцы, какие они были воинственные и мужественные. Много всего знал Лео. Он любил свою выдуманную Германию и ненавидел ее и стыдился немцев за то, что они творили в войну.

– После войны все изменится, – ободряла его мать.

– После войны, – отвечал Лео, – нас отсюда не выпустят, мы будем гнить в этих лесах.

И поделом!

Лео был недалеко от истины. После войны его из ссылки не выпустили и он спился в маленьком таежном поселке Кедровое, где преподавал ссыльным ребятишкам никому там не нужный немецкий язык. Сколько невероятных историй пришлось мне услышать от разнообразных эвакуированных и этапированных. Никакое приключенческое кино с их рассказами не сравнится. И каждая человеческая жизнь – трагедия, если только не трагикомедия.

Что-то вроде трагикомедии произошло и в нашей родственной среде. Однажды, после крупной победы – освобождения Киева, совпавшей, к тому же, с октябрьскими праздниками, в нашу халупу пришел Оверька Чижик. Он пришел узнать, как мы тут живем, и поздравить с праздниками. Оверька поставил на стол большую консервную банку с иностранной этикеткой. К банке прикреплен был ключ. Таких банок я никогда не видел. Оверька объявил, что это колбаса, полученная им по ленд-лизу от американских союзников. Оверька по-хозяйски уселся за стол, вынул пачку сигарет с верблюдом и задымил. По комнате распространился несказанный аромат. Я уже тайком покуривал, сворачивая цыгарки с самосадам или с лже-табаком, который назывался «феличевый». Это была жуткая дрянь – самокрутка при каждой затяжке воняла и стреляла искрами. И вот теперь рядом со мной сидел небожитель Оверька и благоухал. Небрежно отделив от банки ключ, Оверька повертел его в руках – крышка отвалилась – помещение заполнил головокружительный аромат ленд-лизовской колбасы.

– А что, Гутенька, не найдется ли у тебя?.. – и Оверька звонко щелкнул пальцами у горла.

Мать сказала, что найдется. Привыкшая к суровой экономии, мать сберегала все, что выдавали нам по карточкам. Так же хранила она и спиртное. В большую бутылку она аккуратно сливала водку, выданную в сентябре, портвейн, выданный в октябре, и туда же добавляла спирт, сухое вино, кагор и прочее, и прочее. Мать никогда даже не пробовала спиртного, а отец пил только пиво. Все спиртное мать именовала одним словом «водка». Накрыв на стол, мать оставила бутылку в полном распоряжении Оверьки. На вопрос, что в бутылке, мать ответила, что это водка. Оверька наполнил стакан странной розоватой жидкостью, выпил за освобождение Киева, потом за годовщину Великого октября. «Водка» материнского изготовления Оверьке очень понравилась. Хорошенько закусив лендлизовской колбасой, Оверька, стоя, выпил за товарища Сталина и сразу же понес чушь. После тоста «за победу», он выпил за самого себя. Он сказал, что правда все равно победит. Так же, как победил и он – бедняцкий сын, женившийся по ошибке на кулацкой дочери Августе Трусихиной.

– Ведь кто я? – рассуждал Оверька, – юридически, я – кулацкий прихвостень и сукин сын! А фактически, я достиг высокого положения. Партия разглядела во мне мою бедняцкую суть! Правда победила!

Оверька долго молчал, улыбался самому себе и покачивал головой. Потом он взглянул на меня, отложил колбасу и тихо сказал:

– Виталий! – сказал Оверька. – Слушай важное! Ты мог бы стать моим сыном! Ошибка не в том, что я женился на кулацкой Августе, а в том, что я женился не на той Августе! – Оверька повернулся к матери и неожиданно встал на колени.

– Августа Трапезникова! Гутька! Гутенька! – торжественно объявил Оверька. – Сколько лет я об этом думаю и забыть не могу!

Мать сказала, что Оверьян выпил лишнего и ему, наверное, следует проспаться. Но Оверька горестно покачал головой и ответил, что не в водке дело, а дело в чувствах.

– Ты, Гутька, никогда меня не понимала! С самого моего бедняцкого детства! – Оверька снова сел за стол и выпил материнского зелья.

Мы с матерью ушли в другую комнату, долго сидели и не знали, что с ним делать. Сидели, пока из соседней комнаты не послышался храп. «А ведь все сходится, – подумал я, – и настойчивые приглашения Оверьки переехать в Ханты-Мансийск, и всякие другие знаки внимания, которых я прежде не замечал». Утром на столе стояла порядком опорожненная бутылка и записка: «Извеняюсь. Валериан. П. Чижов».

Близился конец войны. И Победа! И какая-то новая, взрослая, жизнь. Однажды я встал на лыжи и отправился в Ханты-Мансийск. Если пойти ближней дорогой, через гору, то получилось километров десять. Я пришел в городскую библиотеку, и мне выдали затрепанный «Справочник для поступающих в вузы» за 1939 год. Я решил внимательно ознакомиться с этим справочником и определить свою судьбу. Главное, сделать правильный выбор! Ведь в конституции и даже в песнях сказано: молодым везде у нас дорога. То же самое писали во всех газетах и журналах. Будем выбирать!

«Пятьсот веселый»

Я уезжал из Самарово на том же самом «Карле Либкнехте», который в июне сорок первого так и не довез нас с матерью до цели, не обеспечил нам свидания в столице с самим Михал Ивановичем Калининым. За четыре военных года пароход облупился и поизносился. И пассажиры уже были другие: командированные офицеры, демобилизованные солдаты, перемещенные гражданские лица. Все, что двигалось когда-то на восток, теперь устремилось на запад. Устремилось с новыми послевоенными надеждами и с новыми песнями. Радиола гремела, не смолкая. Победные марши перемежались довоенными фокстротами, а знакомые фронтовые мелодии вытеснялись новомодными солдатскими песенками союзников. «В путь далекий до милой Мэри, в путь до Англии родной!» распевали наши подвыпившие демобилизованные лейтенантики, ожидая скорой встречи со своими родными Цынгалами или Слушками. Они обменивались фронтовыми воспоминаниями и трофеями. Так стыдливо называлось вывезенное из освобожденной Европы шмотье и барахло. Лейтенантики имели право веселиться и радоваться, потому что уцелели в чудовищной войне и еще потому, что перед ними приоткрылась совершенно неизвестная, праздничная жизнь в краях, которые они освобождали. Оказывается, можно жить в чистоте и в изобилии, как живут те, освобожденные. Значит, и мы сможем! Мы же победители!

Я попал на пароход только в конце августа. У всех отъезжавших были какие-то особые документы и права на внеочередной выезд. У меня ничего такого не было. Я устроился все в том же четвертом классе на дровах, взяли меня с условием, что я буду помогать на всех погрузках и выгрузках. Мать основательно собрала меня в дальнюю дорогу. Она даже изготовила походный тюфячок, чтобы мне было комфортнее лежать на сучковатых дровах. Были заготовлены и продукты для долгого автономного питания в условиях всеобщей послевоенной голодухи. Деньги, которые мать копила все эти годы, были положены на аккредитив, а те, что предназначались для повседневных трат, мать спрятала под стельками новых, к отъезду справленных, сапог. В сверхсекретном кармане пиджака лежали документы. Мне уже исполнилось семнадцать, и полагалось иметь паспорт. Но получить его в наших ссыльных краях было почти невозможно. Не без Оверькиной помощи мне неохотно дали временное удостоверение личности сроком на полгода. Мы с матерью рассудили так: за полгода я уеду достаточно далеко от этих мест, а дальше – видно будет!

Я окончил самаровскую школу с золотой медалью. Собственно, никакой медали не было, ее еще не изготовили. Медали были учреждены только в этом, победном, году. Зато я вез с собой аттестат зрелости, каллиграфически исполненный на обороте этикетки «Муксун в томате», и несколько копий на тетрадной бумаге, исполненных похуже – это на всякий случай. Изучив основательно «Справочник для поступающих», я после длительных раздумий и колебаний остановился на Всесоюзном государственном институте кинематографии. Представление о кинематографе у меня было самое смутное и ограничивалось светлыми воспоминаниями об агитбригаде. Я решил стать директором кинокартины, потому что фамилия директора в фильмах всегда написана крупными буквами.

С тем я и ринулся в неизвестность. Штабеля дров на пароходе постепенно уменьшались, а после Тобольска я спал уже на пустом и горячем металлическом полу машинного отделения. Пол мелко дрожал, из-под него рвался несмолкаемый грохот шатунов. Но зато теперь меня уже не заставляли грузить дрова – пароход шел по безлесной местности. Когда «Карл Либкнехт» преодолел реку Тобол и двинулся по узенькой Туре, возникло ощущение, что он плывет прямо по степи. Крутые берега поднимались до высоты палубы, и совсем рядом бежали наперегонки с пароходом перепуганные овцы, лаяли овчарки и тряслись на лошадках чабаны в островерхих казахских шапках. Когда пароход причаливал у горсточки

юрт, начиналась торговля. Лейтенантики меняли трофейные побрякушки на овец. Овец тут же резали и свеживали. Казашки зазывно приподнимали подолаы – под подолами, укрытые от степного зноя, стояли бутылки с кумысом. Почему женщины не охлаждали кумыс в речной воде, было непонятно – сказывалась, наверное, привычка постоянно пребывать в безводных местах.

В Тюмени меня встречала одна из материнских сестер – Шура. В войну она овдовела и с двумя детьми, в поисках лучшего, перебралась из дедовской омской халупы в Тюмень. Я переночевал у нее в точно такой же халупе, только уже не омской, а тюменской. Похоже, тетка сменила «шило на мыло». Наутро я решил приобщиться к цивилизации. По тем временам, это означало – посетить рынок. На тюменском рынке меня остановил самый натуральный городской из фильма «Юность Максима». Городовой в мундире, при шашке и с малиновым шнуром на шее, строго спросил у меня документы. Жалкий провинциал, я и не знал, что всех милиционеров недавно переодели в новую, то есть, старую полицейскую форму. Это сделали с одобрения товарища Сталина – значит, так надо?

На рынке торговали невиданными товарами. Толстая тетка рядом с банными вениками продавала, например, фарфоровую кофемолку с надписью «Гутен морген!» Тут же мирно соседствовали немецкие и советские ордена. Я впервые увидел фашистские деньги. На них был изображен рабочий с молотом и крестьянка со снопом. Получалось, что у них тоже рабоче-крестьянская власть? Как же так?! Здесь же шла бойкая торговля перешитыми из советских и немецких шинелей курточками и пальтишками. Советские шинели ценились выше, потому что были теплее. Безногий инвалид торговал сигарами. На тряпице, в деревянной красивой коробочке лежали рядком толстенькие коричневые палочки с золотой опояской. О таком я только читал в книгах. А еще на карикатурах буржуев изображали с точно такими же сигарами в зубах. Поторговавшись, я купил себе сигару, а инвалид уговорил меня взять еще и зажигалку.

Я отошел в сторонку и решил раскурить сигару, но зажигалка не действовала. Продавец заявил мне, что зажигалку нужно было сначала опробовать, а купленный товар обратно уже не принимается. У другого инвалида (без руки) я прикурил свою сигару от его самокрутки. Впечатление было сильное. Казалось, горло и легкие обожгло кипятком, а потом туда еще подсыпали металлические опилки. Наивный провинциал, я не знал, что вместе с трофеями, на российские базары прибыла и германская эрзацпродукция. Оскудевшие в войну немцы придумали себе заменители. Они ели эрзацхлеб и мазали на него эрзацмасло. Созданные таким способом эрзацбутерброды немцы запивали эрзацкофеем. Весь этот суррогат тщательно и заманчиво был упакован в золотые бумажечки и коробочки. А сигары были, конечно, не из табака – их делали из каких-то лопухов, пропитанных никотином.

Потом я с волнением посетил вокзал. Отсюда должно начаться мое главное путешествие в Москву. Вокруг вокзала расположились лагерем пассажиры. Оказалось, поезда здесь останавливались только для высадки. А на запад из Тюмени отправлялся раз в неделю единственный прицепной вагон. Мимо вокзала со свистом и грохотом проносились с дальнего востока воинские эшелоны – только что закончилась победоносная война с Японией. Я побродил по лагерю перемещенных лиц. Многие, с семьями и скарбом, жили здесь месяцами. Среди них я встретил и старых знакомых. Это были эвакуированные, отъехавшие из Самарово по особым пропускам значительно раньше.

Они рассказали много интересного. Мало того что на Москву идет один прицепной вагон, нужно еще получить вызов-подтверждение, что в Москве, и, вообще, в месте назначения, тебя ждет родня или казенная надобность. Дождавшись вызова, нужно ждать двухнедельного оформления пропуска. Получив пропуск, следовало еще пройти обязательную санобработку.

Процедура такова: отстояв предварительно в многодневной очереди, обладатель пропуска снимает с себя всю одежду и сдает ее на прокаливание и прожаривание в специальную камеру. Пока в этой камере прокаливают и прожаривают вшей, будущий пассажир, голышом, зажав в кулаке пропуск, отправляется на помывку. Ему дают кусочек дегтярного мыла, пассажир отмывается, а в это время его доверенное лицо – жена, а может статья, что и соседка по очереди, хранит в кулаке пропуск. Я не оговорился – нередко обезумевшие от этой процедуры голые люди, из боязни потерять или потерять свою очередь, мылись все вместе, без различия пола, а только в порядке очереди.

И, наконец, пропуск и справка у вас уже в руках. Остается пустяк – нужно раздобыть билет в единственный московский вагон, который цепляют раз в неделю. Между тем, в справке о санобработке мелким шрифтом написано, что справка эта действительна только на день отъезда – пока ты «свежеобработанный».

Раздавленный новостями, я побрел по Тюмени куда глаза глядят и добрел до двери с табличкой: «Тюменский обком комсомола». Я был, конечно, комсомольцем. В пять лет меня сделали октябренок, после пятого класса – пионером, а в четырнадцать – комсомольцем. В наших краях на происхождение закрывали глаза, потому что все мы здесь были, в принципе, неблагонадежными и социально чуждыми. Я пришел в обком комсомола уже под вечер, прошел по пустынному коридору и толкнул первую попавшуюся дверь. За столом сидел молодой парень и быстро писал.

– Ты ко мне? – спросил он, не поднимая головы.

Я сказал, что да.

– Ну?

– Мне надо в Москву, – сообщил я.

– Показать? – спросил парень. – Знаешь, как Москву показывают?

Я знал, как это делают, еще с детства. Если в школе к тебе подходит старшеклассник и ласково спрашивает, не показать ли тебе Москву? – быстро отвечай: «нет!» Если, по незнанию, ты скажешь «да», старшеклассник стиснет тебе голову и начнет тебя медленно приподнимать. Это очень больно, и ты кричишь: «нет!» «То-то же!» – говорит старшеклассник и, довольный, уходит.

– Мне очень нужно в Москву, – повторил я.

– Рассказывай, – сказал парень и писать перестал.

Тогда я объяснил комсомольскому вожаку, что намерен учиться в институте кинематографии, а институт находится в Москве.

– Ты уверен, что он находится в Москве? – спросил вожак. – А может, его куда-нибудь эвакуировали или расформировали? Война же была!

– Вот я как раз хочу поехать и проверить, – возразил я.

– А кто тебя туда приглашал, кто вызывал? Комсомольский билет предъяви! – потребовал парень.

Комсомольский билет я предъявил и копию аттестата тоже. Парень поглядел на аттестат, потом на меня и задумался.

– Глупость ты придумал, уважаемый медалист, – заключил он, – в этот институт попадают только наркомовские дети или гении. Ты про кино хоть что-нибудь знаешь? Кто такой сценарист? А кто мультипликатор, например?

– Вот приеду и узнаю, – повторил я.

– Слушай, друг, а у тебя по химии что? – вдруг спросил вожак.

– Я медалист, – напомнил я.

– Тогда спрошу по-другому: ты науку химию любишь?

Ответить на этот вопрос было непросто. Науку химию я любил, потому что ее преподавала неистовая старая дева, одесситка Мария Карловна. Всю свою нерастрченную любовь

она вложила именно в химию и заразила ею своих учеников. Если в школе происходил какой-нибудь взрыв или возгорание, виновников искали только среди учеников Марии Карловны. Но, с другой стороны, сестра Марии, старая дева Екатерина Карловна, с такой же яростью внедряла в нас любовь к слову и к сочинительству. Все ее ученики, и я тоже, были подающими надежды графоманами и стихоплетами.

– Ну, конечно, я люблю химию, – неуверенно сказал я вожаку.

– Так вот, во ВГИК никто тебя не возьмет, а в Менделеевку таких, как ты, даже приглашают.

– Кто? – удивился я.

– Факультет 138 приглашает!

– А чему там учат? – осторожно поинтересовался я.

– Вот приедешь в Москву и узнаешь. Главное, вызов есть! – парень показал мне роскошную, гляцевую бумагу. На бланке было написано: «Московский химико-технологический институт имени Менделеева». А пониже значилось: «Вызов-приглашение гр-ну...» и зиял пробел для фамилии приглашенного.

– Повезло тебе, медалист, прислали одно место на всю область! – позавидовал вожак.

– А, все-таки, что же это за факультет? – повторил я.

– Так заполнять на тебя или нет? – рассердился парень.

– Заполнять, заполнять, – поспешил я.

Уже у выхода из кабинета я вдруг остановился, потому что вспомнил о неразрешимой проблеме с санобработкой.

– Ну, это пустяки, – успокоил комсомолец, – это мы решим. Главное, чтоб было красиво напечатано! – парень подмигнул и заправил лист в пишущую машинку.

– Народ верит печатному слову! – вожак выдернул лист из машинки, быстро распечатался и подал бумагу мне. На бумаге было напечатано крупными буквами: «Справка. Тов. Мельников В. В. обработку прошел. Зам-Тюмь-Сан». И далее, в скобках, маленькими буквами: «Желдорга». Внизу стояла неразборчивая подпись.

– Чем непонятнее, тем лучше, – объяснил мой благодетель, – нужную дату проставишь сам. Эту справку я успешно предъявлял потом во всех инстанциях в Тюмени. Предъявлял ее милиционерам, военным патрулям, в поездах, на станциях и полустанках. А позднее, я предъявлял ее и в Москве. Выяснилось, что Москва только слезам не верит, а липовым справкам она свято верит, как и вся Россия.

Я пришел к знакомым в лагерь перемещенных лиц уже другим человеком. Человеком с Пропуском! Все поздравляли меня, завидовали и давали советы. Я поделился радостью и с самаровским знакомцем Колей. Он был значительно старше меня, но в войну от армии был освобожден, потому что с детства прихрамывал. Я даже не знал его фамилии. В Тюмень Коля приехал по каким-то своим делам. Все мужчины после войны донашивали военную форму и прихрамывающий Коля с медсанбатовской палочкой ничем не отличался от фронтовиков-инвалидов. Инвалидов жалели и побаивались, так как среди них попадались контуженные и психически неуравновешенные. Коля по секрету сообщил мне, что знает тупик, в который перед отправкой всегда ставят московский вагон.

Мы тут же разработали замечательный поэтапный план. Первый этап – покупка билета. Сначала мы осмотрели место действия. Билетная касса на тюменском вокзале – это глубокий тоннель-бойница, завершающийся глухой дверцей. Дверца открывается только перед прибытием поезда. Подойти к кассе вне очереди невозможно. У кассы дено и ночью стоят, сидят и лежат безбилетные пассажиры. Они живут у кассы неделями, знают друг друга в лицо и в час открытия окошечка очень агрессивны.

Решили действовать так: я со своими вещами буду стоять неподалеку, а Коле вручу деньги и документы. Когда час икс наступит и безбилетники столпятся у окошечка, Коля

начнет размахивать палкой и закричит дурным голосом: «Разойдись! Убью!» Я, со своей стороны, буду кричать: «Контуженный! Контуженный!» Первый этап прошел успешно. Народ шарахнулся, а Коля оказался первым у кассы. Вскоре он вынырнул из толпы встрепанный и красный, в кулаке у него был билет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.